

# ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ РУССКО-УКРАИНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ



MASARYK  
UNIVERSITY  
PRESS

ВЛАДИМИР  
ЯНОВИЧ  
ЗВИНЯЦКОВСКИЙ



ВЛАДИМИР ЯНОВИЧ ЗВИНЯЦКОВСКИЙ

**ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ  
РУССКО-УКРАИНСКИХ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ**

MASARYK UNIVERSITY PRESS

Брно 2023

# KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Zvinjackovskij, Vladimir Janovič  
Lekcii po istorii rusko-ukrainskich literaturnych svjazej / Vladimir Janovič  
Zvinjackovskij. -- Izdanije pervoje èlektronnoje. -- Brno : Masaryk University Press,  
2023. -- 1 online zdroj  
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy

ISBN 978-80-280-0369-2 (online ; pdf)

\* 821.161.1 \* 821.161.2 \* 82.091 \* 82:7.04 \* 81:82 \* 82:316.347 \* 82:93/94 \*  
316.72/.75 \* (470+571) \* (477) \* (048.8)

- ruská literatura -- 18.-20. století
- ukrajinská literatura -- 18.-20. století
- literární vlivy
- literární náměty
- jazyk a literatura
- národní identita v literatuře
- literatura a dějiny
- Rusko -- kulturní vztahy -- 18.-20. století
- Ukrajina -- kulturní vztahy -- 18.-20. století
- monografie

821.161.09 - Východoslovanské literatury (o nich) [11]

Редактор:  
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Рецензенты:  
prof. John Douglas Clayton  
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.



CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

© 2023 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-280-0369-2  
ISBN 978-80-280-0368-5 (brožováno)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Благодарности .....	5
Лекция первая. Пролог. Введение в предмет .....	7
Лекция вторая. Миф о трех братских народах .....	19
Лекция третья. Плетение словес и вступление в век XVIII .....	33
Лекция четвертая. Опрошение .....	41
Лекция пятая. «Здесь все Европой дышит, веет...» .....	59
Лекция шестая. «Сам не знаю, какая у меня душа...» .....	75
Лекция седьмая. Верхушка айсберга (развитие идеи украинской нации в украинской литературе и некоторые ее проявления в русской) .....	85
Лекция восьмая. Потенциальная политическая нация или «племя поющее и пляшущее»? Суржик или билингвизм? .....	97
Лекция девятая. «Ты смеешься, а я плачу...» .....	117
Лекция десятая. «Преемники Гоголя в самопознании» .....	131
Лекция одиннадцатая. Шинель, из которой «все мы вышли» .....	139
Лекция двенадцатая. «А я родом не така» .....	157
Лекция тринадцатая. «Влечение, род недуга» .....	181
Лекция четырнадцатая. Кот и кит .....	189
Лекция пятнадцатая. Долг Украине .....	213
Лекция шестнадцатая. Вместо эпилога .....	227
Список цитированных источников .....	235



## БЛАГОДАРНОСТИ

Предложение прочесть курс по истории русско-украинских литературных связей студентам Университета им. Масарика в Брно пришло от завкафедрой славистики профессора Иво Поспишила в марте 2022 г. Благодаря ему мое бегство от войны, связанное со старостью и немощью, обрело и оправдание, и смысл в моих собственных глазах.

Итак, моя первая и главная благодарность коллеге Поспишину, приютившему меня у себя на кафедре, и всей его команде, которую теперь возглавляет новый завкафедрой доцент Вацлав Штепанек. В его лице я также обрел радушного хозяина, хоть за этот год и перестал чувствовать себя здесь гостем: пусть и временный, но это мой новый дом...

Среди сотрудников кафедры отдельно хочу поблагодарить профессора Йозефа Догнала, любезно согласившегося мне помочь, в качестве кафедрального рецензента, подготовить эту книгу к печати; доктора Йозефа Шаура, оказавшего бесценную помощь в решении бытовых проблем; доцента Йиржи Газду, заботливо следившего за тем, чтобы в течение всех трех семестров (а курс был прочитан трижды) студенты вовремя узнавали о моем преподавательском предложении — словом, создавал спрос. Именно доц. Газде принадлежала идея третьего захода на этот курс, с расширением аудитории в разы, на междууниверситетской он-лайн платформе Прага — Оломоуц — Брно. Это что касается кафедральных русистов. Но я также никак не обошелся бы без помощи, советов и моральной поддержки маленькой, но дружной команды кафедральных украинистов во главе с доктором Петром Калиной.

И, конечно, мне было очень важно, чтобы мою рукопись прочитал мой «внешний» рецензент, вкусу которого я доверяю с очень давних времён, — профессор Оттавского университета Джон Даглас Клэйтон. Ему моя особая признательность за одобрение моей работы и дельные замечания.

В учебном плане университета курс проходил как курс по выбору, что давало возможность слушать его не только будущим славистам (некоторые отрывки моего профессионального диалога с ними

вошли в эту книгу, за разрешение включить эти отрывки — им отдельная благодарность, их имена указаны в тексте). У меня были слушатели также и с медицинского факультета, и с факультета информационных технологий (свои итоговые эссе все они написали блестяще — не хуже филологов). Эти «непрофильные» студенты все были из разных **украинских** городов. Когда на первой лекции я спросил о причине их выбора, медичка Арина Шубович (писала эссе о «южной ссылке» Пушкина — «потому что папа меня назвал в честь Арины Родионовны») ответила так: «Я подумала, что тема вашего курса имеет отношение к нынешним трагическим событиям и поможет мне лучше понять их истоки». В ответ я высказал предположение, что девушка получила в Украине хорошее образование, и не только по естественнонаучной, но и по гуманитарной части. «Да, я закончила киевский физико-математический лицей № 157 с золотой медалью», — с гордостью ответила Арина.

Вот в этой самой 157-й школе на Оболони в 1979 г. я начинал свою учительскую службу. Уже тогда это была одна из лучших в городе школ с физико-математическим профилем. И уже тогда ее дирекция ставила мне, молодому литератору, ясную цель: увлечь ребят общегуманитарной проблематикой, не дать им с головой уйти в физику и математику, как испуганным страусяткам в песок, создать уверенность в познаваемости не только физических, но и общественных закономерностей, что равносильно уверенности в своем собственном завтрашнем дне.

Сегодня, когда, в силу этих самых общественных закономерностей, я и в своем собственном завтрашнем дне не особо уверен, неожиданная встреча с недавней выпускницей моей первой школы показалась мне символичной. Всё же она подтвердила мою слабую веру в не полную безнадежность наших усилий познавать этот мир и делиться результатами познания с новыми поколениями, которые, я уверен, окажутся мудрее нас...

И, конечно, никакое свободное научное познание не было бы для меня возможно без постоянной деятельной помощи и поддержки тех из моих самых близких людей, которые сегодня со мною здесь в Чехии, — моей жены и ученицы Оксаны Филенко и нашего сына Яна.

*Брно, 10 апреля 2023 г.*



# ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

## ПРОЛОГ. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Вопрос о взаимоотношении украинской и русской литературы очень серьезный и совсем не тронутый. Его хорошо бы разобрать без хвастовства и раздражения.

*Виктор Шкловский Иеремии Айзенштоку, 7 сентября 1928 г.<sup>1</sup>*

### 1. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Эти трудности возникли вместе с самим предметом.

В конце XVII — начале XVIII вв. новосозданной Российской империи срочно понадобились (почему — это тема 2-й лекции) идеологи из Украины и Беларуси. А тем, в свою очередь, потребовалось укрыться от сильно дувших с Запада ветров истории за стенами какой-нибудь новой мощной империи. И одной из важнейших привнесенных ими идеологием явился миф о «трех братских народах», о «трех ветвях одного древа».

Таким образом, историческая (и в частности историко-литературная) наука, рассуждающая о данном предмете, с самого начала наталкивается не на сам предмет, а на обозначающие его метафоры. Именно будучи в плену метафор, советские исследователи легко скатывались к «хвастовству», а постсоветские — к «раздражению».

Можно оставаться в плену метафор — но тогда забыть о науке. И можно заняться деконструкцией метафор, т. е. попытаться понять, что, собственно, авторы конца XVII и начала XVIII вв. могли иметь в виду, т. е. какая современная им действительность молчаливо подразумевалась всякий раз как употреблялась метафора.

**Русско-украинскими литературными связями** обычно называют факты присутствия в творчестве русского писателя и/или

---

<sup>1</sup> Цит. по: Устинов, А., Бабак, Г. Харьковский кружок «формалистов» и ОПОЯЗ // Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2022. No. 10. Pp. 121–122.

в русском литературном процессе (данной эпохи) значимых образов и тем, цитат или аллюзий, связанных с украинской культурой в целом или литературой как частью этой культуры. И, соответственно, **украинско-русскими литературными связями** обычно называют факты присутствия в творчестве украинского писателя и/или в украинском литературном процессе (данной эпохи) значимых образов и тем, цитат или аллюзий, связанных с русской культурой в целом или литературой как частью этой культуры.

Очертив круг (точнее полукруг) своих интересов **исключительно русско-украинскими связями**,<sup>2</sup> лектор (автор), равно как и вдумчивый слушатель (читатель), сразу же видит и главную трудность изложения: она в том, что круг заведомо отказывается делиться на равные полукружия. Сплошь и рядом мы будем наталкиваться на невозможность ясно определить принадлежность того или иного писателя к русской либо украинской литературе, четко отделить друг от друга эти литературные процессы.

Есть лишь один способ преодолеть эту главную трудность изложения нашего предмета, а именно: сразу же дать более или менее удовлетворительное определение **нации** и, соответственно, критерии принадлежности того или иного писателя (той или иной группы писателей) либо к украинской, либо к русской нации.

Современная националогия знает две основные концепции нации — «волюнтаристскую» и «культурную».<sup>3</sup>

Придерживаясь любой из них (и напрочь игнорируя другую), мы получим простое рабочее определение нации, которое сможем использовать, например, в любом жанре политической публицистики, вплоть до программы политической партии. Но будет ли оно работать в исследованиях культуры, и, в частности, в литературоведении?

Например, в американском литературоведении издавна принята «волюнтаристская» концепция, сжатую формулу которой мы найдем в энциклопедии «Americana»: «**A nation is the will to live and work together**». Логика такого определения по умолчанию требует древнейшей из современных наций признать американцев (граждан США), ведь именно они первыми в своей «Декларации независимо-

<sup>2</sup> Краткий, но убедительный обзор второго полукружия можно найти в кн.: Агеева, В. За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини. Київ, 2022.

<sup>3</sup> See: Gellner, E. Nations and Nationalism. 2nd ed. Malvin etc. 2006. Pp. 6–7.

сти» (1776) сформулировали волю и право жителей определенной территории свободно объединиться в нацию-государство.

Как же эта концепция работает, скажем, в применении к изучению европейской литературы первой половины XIX века? Возьмем пример из новой книги Дэвида Дэмроша — одного из главных авторитетов современной американской компаративистики. Говоря о 5-томной «Истории национальной поэтической литературы немцев» (1835–1842)» Георга Готтфрида Гервинуса, американский литературовед пишет: «Ее название — оксюморон, ведь оно гласит о «**национальной** поэтической литературе» народа, еще не имевшего **нации**, которую он мог бы назвать своей» («of a people who didn't have a **nation** to call their own»).<sup>4</sup> Так «на автомате» срабатывает американская схема, ибо под **нацией** Дэмрош, по сути, подразумевает одновременно и **волю** к объединению и независимости, и самоё **государство**, возникшее в результате такого волеизъявления. Но ведь в Европе эпохи романтизма постепенно формируется иная, так называемая «культурная» концепция нации, которую как раз и постулировал Гервинус, доказывая существование единой «поэтической литературы немцев».

Дэвид Дэмрош — далеко не первый (и вряд ли последний) крупный ученый, поддавшийся соблазну унификации и модернизации понимания национальной идентичности. Так, уже процитированный нами Эрнест Геллнер, в возрасте 14 лет уехавший с семьей, спасавшейся от Гитлера, в Англию из своей родной Праги, всерьез полагал, что и Адельберт Шамиссо, тоже в детстве и примерно при таких же обстоятельствах (спасаясь от Наполеона) покинувший родную Лотарингию, в своей знаменитой повести о человеке, потерявшем собственную тень, метафорически рассказал о трудностях человека без национальной идентичности.<sup>5</sup>

Подведем промежуточный итог нашим попыткам предложить такое определение нации, которое было бы «рабочим» хотя бы для последних двухсот лет. Дэмрош с позиции современной нам эпохи глобализма или Геллнер с позиции эпохи возникновения новых национальных идентичностей (который, заметим это в скобках,

<sup>4</sup> Damrosch, D. *Comparing the Literatures: Literary Studies in a Global Age*. Princeton, 2020. P. 19. Выделения полужирным шрифтом здесь и далее принадлежат не цитируемым авторам, а автору данной книги.

<sup>5</sup> See: Gellner, E. *Op. cit.* P. 6.

видимо идентифицировал себя не «по крови» евреем и не «по жизни» британцем, а по родному языку и воспитанию — чехом) — оба весьма неточны в определении проблем идентичности немцев эпохи романтизма.

Вывод, по-моему, очевиден: человечество не всегда делилось на нации в современном понимании этого слова. Как все крупные исторические подразделения, это тоже возникает постепенно, в течение не лет и не десятилетий, а веков. Другое дело, что когда нации (в современном понимании) уже сформированы, между ними начинается конкурс красоты и убедительности национальных мифов. Как тонко заметил украинский историк Ярослав Грицак, «нации ведут себя совсем не так, как люди. В то время как большинство из нас стремится выглядеть моложе, каждая нация хочет казаться старше своего возраста и отнести свое рождение к эпохе седой древности».<sup>6</sup>

## 2. НАЦИИ САМООПРЕДЕЛЯЮТСЯ

Однако же логика эволюции культур в эпоху романтизма не случайно привела, в том числе, и к так называемой «весне народов». Именно в эту эпоху личность утверждает во всех ее ипостасях, в том числе этнической. И формальная национальность (как сказали бы ныне — паспортная) часто начинает отбрасывать (воспользуемся услужливо подкинутой нам метафорой) весьма причудливую тень.

Вот некий месть *Nicolas de Gogol* прибывает на лечение в Карлсбад (Карловы Вары), где при регистрации в отеле почему-то нужно во всех подробностях указать свою национальность. И прибывший старательно выводит: *Mr. Nicolas de Gogol, Ukrainien, etabli a Moscou*.

Но что до того современным критикам и будущим историкам литературы? Для них Николай Гоголь — русский писатель, ибо пишет по-русски. В специальной лекции о Гоголе мы проверим это утверждение о русском языке «Вечеров» и «Миргорода»: вы не поверите — вас ждет сюрприз! Но в XIX столетии историки литературы, чуткие к изменениям границ, до предела развившие свой политический слух, утратили нечто казалось бы более им необходимое — слух лингвистический.

<sup>6</sup> Грицак, Я. Подолати минуле: глобальна історія України. Київ, 2022. С. 16.

Вернемся к примеру с Гервинусом и его «Историей национальной поэтической литературы немцев». Упрекая его в преждевременном употреблении эпитета «национальная», Дэмрош неправ даже с чисто формальной, политической точки зрения. Ведь в то время, когда Гервинус писал и издавал свою «Историю», на карте Европы официально существовал Германский союз. А то, что стихи, сочиненные и напечатанные в Вене или в Мюнхене, могли быть не до конца (даже чисто в языковом отношении) понятны читателю в Берлине, для первого историка немецкой национальной литературы было не так уж и важно.

И точно так же в XIX в. историки русской литературы охотно включали в свои обзоры представителей литературы «малорусской». И никого, кроме самих же литераторов-«малоросов», не волновал тот факт, что с некоторых пор они не имели права публиковать свои тексты в пределах Российской империи. И что их, вместо этого, охотно печатали в пределах империи Австро-Венгерской, прежде всего во Львове, который они и считали фактическим центром своей культуры... И уж во всяком случае в поле зрения российских критиков, а уж тем более историков литературы, обычно не попадали писатели из Прикарпатья или Буковины: не потому, что язык их был менее понятен, чем язык «малорусских» писателей (читателю в самой России тоже не весьма понятный), но по причине их «паспортной» принадлежности к другой империи.

И лишь в самом конце XIX столетия эту «государственную монополию» на историю и культуру деятельно и убедительно начал разрушать **Михайло Грушевский (1866–1934)** не только в своих трудах, посвященных политической истории Украины, но и в специальных обзорах истории украинской литературы. И не случайно, а намеренно я Грушевского упоминаю первым из украинских литераторов и литературоведов, ибо, как справедливо пишет современный украинский историк, именно Грушевский произвел «своеобразную коперниковскую революцию в историографии Восточной Европы».<sup>7</sup>

В чем же суть этого переворота, почему он так важен для нас?

В следующей лекции я на некоторых литературных примерах постараюсь доказать, что культурная идентификация по «общеперскому» признаку не служит, а препятствует выработке национальной идентичности в обоих современных пониманиях —

<sup>7</sup> Грицак, Я. Цит. соч. С. 9.

как «культурном», так и «волонтаристском». Причем препятствует нормальному развитию не только наций, подавляемых империей (что как бы само собой разумеется), но и «титულიной», «имперской» нации.

Так вот, «коперниковский переворот» Грушевского — это поворот от объединения индивидов в «единый народ» по формальному признаку принадлежности к старым государствам, сформированным еще в эпоху феодализма, к объединению в «отдельный народ» по признаку языка и культуры. Т. е. речь шла о такой же, как в случае Гервинуса, «преждевременной», с точки зрения глобальной истории, апелляции к «национальной» культуре до того, как явилась историческая возможность сформировать современную нацию-государство. Но для того, чтобы ее сформировать, мало самого осознания возможности, а требуются еще и ясно выраженное стремление, и основанная на нем политическая программа — всё то, что составляет суть **национализма**. В этом смысле Грушевского можно считать и подлинным основоположником украинского национализма.

Но если немецкая нация к началу Первой мировой войны заявила о своем реальном существовании более чем решительно, то для народов Центральной и Восточной Европы именно в ходе и по результатам той войны возникает исторический шанс сделать то же самое. И такие историки, как Т. Г. Масарик и М. С. Грушевский, получают возможность применить свои исторические выводы к политической практике и возглавить первые национальные правительства. И когда у Масарика и других национальных лидеров Центральной Европы всё получилось, а у Грушевского отнюдь нет, то компатриоты последнего взвалили (прямо скажем — несправедливо) всю вину за упущенный исторический шанс на него самого и на его так называемое «народовство». Взамен политические аналитики-эмигранты, крепкие задним умом, предложили идею «державництва» (от укр. «держава» — государство), теоретически весьма продуктивную, но практически к тому времени уже бесполезную.

Впрочем, честь и моральное право предложить ее первым заслужил именно тот государственный деятель, который в ходе трагически закончившейся борьбы за независимость 1918–1919 гг. пытался эту же идею осуществить и на практике, а всю историю этой неудавшейся попытки честно, тщательно и по еще горячим следам изложил в «Воспоминаниях» (1919), имеющих не только до

сих пор актуальное политическое, но и историческое, и даже чисто литературное значение. Вот почему этого литератора, обыкновенно к таковым даже и не причисляемого, а именно **Павла Скоропадского (1873–1945)**, я назову здесь вторым. Примеру украинского государственника П. Скоропадского и идейно противостоявших ему, с одной стороны, украинских социал-народовцев (М. Грушевский, В. Винниченко), а с другой — русских империал-государственников (М. Булгаков) будет посвящена отдельная лекция.

Как заметил еще Гегель, история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы. И надо сказать, что сами по себе народы в этом может и не слишком виновны, просто исторические обстоятельства обычно складываются таким образом, что и сознавая прежний опыт — им далеко не всегда можно воспользоваться.

«Любовь к языку, к родной культуре», радовавшая русского писателя Чехова (при этом называвшего себя «хохлому»!) в украинской интеллигенции, которая говорить и творить стремилась на родном языке, — очевидный, но ненадежный критерий отбора участников национального строительства. Именно этим критерием пользовались и Михайло Грушевский и его сторонники, которые любили украинский язык, и Михаил Булгаков и его единомышленники, которые этот язык **не** любили. А Павла Петровича Скоропадского, который пытался их всех объединить для построения украинской нации, они все дружно **не** любили: первые за то, что подозревали его в **нелюбви** к украинскому языку, а вторые за то, что подозревали его в излишней, с их точки зрения, любви к нему: «Главное, что они ненавидели, — писал Скоропадский в «Воспоминаниях», — это язык, хотя язык частному человеку приходилось, если он его избегал, слышать лишь в официальных канцеляриях и читать на нем лишь „Державный Вестник“».

Однако же Грушевский такому «частному человеку» был заведомо не рад и в «украинский народ» его «не принимал». Зато он был рад неграмотным крестьянам, говорившим, собственно, не на литературном украинском языке, а на диалектах. «А крестьяне оказались очень ненадежной опорой для национального государства. Они то поддерживали его, то поворачивались к нему спиной». Словом, народ-то действительно существовал, но он всегда «существует сам по себе, как растут травы или деревья. А вот **наций в природе не существует**, их нужно устраивать, за ними нужно ухаживать, как

ухаживают за газоном или садом».<sup>8</sup> Мало того: для устройства нации нужны правильно выбранные «природные условия» и «природный материал».

Эти условия и этот материал уже к концу XX века не составляли тайны для социологов (нациологов), ибо к их услугам был весь опыт складывания современных наций-государств. Постепенно, драматично, часто трагично складывались они в недрах прежних империй. Но имперский гнет не мог остановить развития современных наций — скорее он был одним из главных стимулов к нему. Люди, притесняемые по одному и тому же национальному признаку, были просто обречены объединиться между собой на принципах национализма. Но путь от первой формулировки этих принципов к формированию нации-государства не был таким коротким и прямым, каким представлялся тому же Грушевскому. **Воля** жить и работать вместе (и отдельно от старой империи) и развитие нормированного языка и высокой многофункциональной **культуры** шли рука об руку и охватывали все большее количество людей, однородных (*homogeneous*) в смысле принадлежности к данной культуре (= нации). А тем временем империя рушилась от всё новых и новых ударов истории — и наконец более не в силах была им противостоять. Оказалось, что это как раз те самые условия, «при которых (и *только* при них) можно и должно ставить задачи и применять критерии национального строительства исходя из обеих концепций нации — волюнтаристской и культурной».<sup>9</sup>

В идеале **воля** жить и работать вместе (и отдельно от старой империи) должна подтверждаться легитимным, всеобщим и равным **волеизъявлением**. 1 декабря 1991 г. автор этой книги имел ни с чем несравнимое счастье лично испытать и искренне декларировать принадлежность к тому абсолютному большинству жителей Украины, которое по результату международно признанного референдума объявило решимость жить и работать в составе суверенной украинской политической нации-государства.

Таким образом, украинская (как любая современная) нация есть **результат**, обретенный лишь к концу XX века. Наш предмет — история русско-украинских литературных связей — есть часть описания **процесса**, который привел к этому результату. Наш поиск неких

<sup>8</sup> Грицак, Я. Цит. соч. С. 9, 38.

<sup>9</sup> See: Gellner, E. Op. cit. P. 54.



определенностей или простых закономерностей в определении национальных идентичностей «для всех времен и народов» ни к чему не привел. Как видим теперь, он и не мог ни к чему привести, кроме более правильной постановки вопроса об общем направлении исторического процесса.

Однако литературный процесс не есть простое отражение исторического процесса. Украинская литература не «смотрится в зеркала» русской культуры, а столь же активно формирует ее, как вообще литература формирует жизнь. Прочитав много книг и прожив много лет, рискну предположить, что литература настолько же отражает жизнь, насколько и жизнь подражает литературе.

### 3. БУНТ ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Но если литература в той или иной мере творит историю, то нельзя ли заранее, т. е. до рассмотрения конкретных примеров, указать хотя бы общий смысл этого сотворчества?

Этот общий смысл, в сущности, мало изменился с момента возникновения исторически первого варианта художественной литературы (*fiction*), а именно *мифологии*. Потребность в *мифе*, т. е. в целостном, непротиворечивом, внутренне гармоничном образно-повествовательном тексте, выполняющем «упорядочивающую» функцию, — видимо, одна из базовых человеческих потребностей.

Но ведь изначально мифы творились в сознании людей не с целью «отражения» действительности, а в попытке ее объяснения для последующего приспособления к ней и в надежде (чем чёрт не шутит?) управления ею в необходимых людям пределах. В наше время любой школьник знает (а если не знает — находит в Интернете) истинную, т. е. научно доказуемую, причину морских штормов. Но древний грек тоже мог «доказать» (со своей точки зрения непротиворечиво и убедительно), что причина морских штормов — гнев Нептуна: ему приносили жертву — и море успокаивалось. То, что море должно же когда-нибудь успокоиться и время от принесения жертвы до наступления штиля никогда не было одним и тем же, тоже находило прекрасное «психологическое» объяснение: морской бог избалован, непостоянен, капризен и т. п. Миф ведь не для того, чтобы «правильно отражать» или «точно объяснять» природу. Он для

того, чтобы удовлетворять хотя бы минимальным гносеологическим, этико-эстетическим ожиданиям человека: человек не может жить в абсолютно непознаваемом, несправедливом, некрасивом и неупорядоченном мире.

Однако «упорядочить» современный мир таким же точно, т. е. *мифологическим*, образом, видимо, не так легко и просто, как античный мир или языческий мир наших предков-славян; это не было легко уже и в XVII столетии, когда на смену классицизму пришло барокко. Чтобы понять происходящее в современности и в ближайшей истории, нужно иметь не только доступ к фактам, но и мужество «посмотреть истории в глаза». То и другое требует специальных усилий и специальной подготовки, да и времени. И к тому же результат всех этих усилий заранее предвидится сложным, многомерным, неоднозначным, не таким увлекательным и занимательным, как мифологический сюжет. Истории, особенно так называемой «национальной» истории, «не получается» быть наукой на уровне не только школьных и вузовских учебников, более или менее напоминающих красивый патриотический миф. Но и серьезные ученые, честно поработав в библиотеках, архивах или даже в археологических экспедициях, упорно добывая факты, затем легко (или трудно) всё же поддаются внешней или внутренней цензуре, выстраивая «удобочитаемый» исторический сюжет *мифологической* природы. Когда в «истории» всё и просто, и понятно, и вполне объяснимо, и все концы с концами сходятся, то можете быть уверены, что на самом деле, в надцатом столетии, ничего подобного не произошло: перед нами **придуманная** история, т. е. **миф**.

Но если историческая наука вынуждена более или менее стыдливо, с большим или меньшим успехом, камуфлировать мифологические ожидания не только читателей, но и авторов историографий, и значит не вполне эти желания удовлетворять, то к услугам любителей непротиворечивых историй о прошлом, настоящем и даже о будущем остается прямая наследница мифологии — художественная литература (*fiction*). По справедливой мысли Мирчи Элиаде, именно она идеально выполняет извечную функцию мифа — функцию увода сознания в область циклического сакрального времени от подлинной истории с ее повседневной бессмыслицей и обыденным, профанным ужасом. «В литературе сильнее, чем в других искусствах, мы ощущаем этот бунт против исторического времени и желание

приобщиться к иному временному ритму чем тот, в котором мы обречены жить и работать».<sup>10</sup>

Мифологическое сознание остается вполне милым и безобидным, пока Нептуну и ему подобным не приносятся человеческие жертвы (впрочем, и животных тоже жалко). Ну а если «мы обречены жить и работать» на очередной троянской войне и убивать троянцев только за то, что их царевичу Парису Афродита помогла соблазнить жену спартанского царя?.. А если на место Афродиты поставить польскую панночку, соблазнившую Андрия Бульбу? А если теперь на место панночки и Андрия снова поставить целые народы, а роль Афродиты отдать НАТО — то получится ровно та картинка, которую читатель может видеть на обложке этой книги.

Фотография, имя автора которой теперь уже вряд ли можно установить, весной 2022 г. быстро разошлась по социальным сетям, что свидетельствует о доступности, т. е. о мифологичности, ее восприятия. И неважно, постановочная она или сделана в настоящих развалинах настоящего населенного пункта, по которому проехали танками отличники российской средней школы, помнящие наизусть «Тараса Бульбу». Чтобы написать на развалинах: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?», нужно безвылазно жить в «сакральном» времени и пространстве этой гоголевской повести.

Во всяком случае, тот миф, в коем нам нужно разобраться, милым и безобидным отнюдь не представляется. Давайте разбираться.

---

<sup>10</sup> Eliade, M. *Aspects du mythe*. Paris, 1963. P. 235.



## ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

### МИФ О ТРЕХ БРАТСКИХ НАРОДАХ

Я из дела ушел, из такого хорошего дела —  
Из-за синей горы накатили другие дела.

*Владимир Высоцкий*

#### 1. XVII ВЕК: СОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИИ

В 1620 г. Гетман Реестрового Войска Запорожского Речи Посполитой со всем своим многотысячным Войском официально вступает в Киевское братство, созданное для защиты православия вопреки официальной польской политике окатоличивания украинского населения. Таким образом гетман Петро Сагайдачный недвусмысленно заявляет о фактическом выходе из *Речи Посполитой*, т. е. букв. *общего дела*, лишь формально продолжая себя и всех правобережных украинцев считать подданными польского короля.

В том же самом 1620 г. на борту корабля «Mayflower» у берега мыса Код 41 человек подписали соглашение, засвидетельствовавшее о том, что они прибыли в Северную Америку из Великобритании «для распространения христианской веры и славы нашего короля и отечества», собираются «основать колонию в северной части Виргинии» и «объединяются в гражданский политический орган для поддержания лучшего порядка и безопасности, а также для достижения вышеуказанных целей».

Между этими двумя практически одновременными событиями, случившимися в начале XVII в. в разных концах земли, есть много общего.

С одной стороны, все эти люди всё еще признают себя подданными своих королей.

С другой стороны, эти короли со всем тем миропорядком, который они символизируют, в жизни этих людей являются лишними или даже враждебными. Они, эти люди, чувствуют и силу, и потребность объединиться в гражданский политический орган для поддержания

*лучшего порядка и лучшей безопасности, а от королей как минимум держаться как можно дальше.*

Так постепенно на разных концах земли начинает зарождаться идея нации, нашедшая уже известную нам конечную формулировку в энциклопедии «Americana»: «A nation is the will to live and work together».

Эта воля всегда имеет провокативное начало и результативное окончание. Так, **1 декабря 1991 г.** результативное окончание — легитимное подтверждение воли украинского народа к созданию суверенной украинской политической нации — получил долгий процесс национального строительства, заявленный еще в 1620 г. Можно ли сказать, что именно в этот день 1 декабря 1991 г. состоялось рождение нации? Нет — даже в смысле энциклопедии «Americana»: ведь волю жить и работать вместе украинцы (как мы только что видели) заявили еще в том же самом году, что и пассажиры «Мэйфлауэра».

Но если бы мы захотели проследить исторически, как где-то, где в мире произошло зарождение **идеи** политической нации, ей (этой нации) удалось впервые, последовательно и без изъятий торжествовать свое **рождение**, то нам пришлось бы хотя бы кратко, поэтапно пройти по истории североамериканских колоний за весь период 1620–1776 гг. За неимением времени и места мы этого делать не будем. Для нашей цели достаточно зафиксировать результативный момент — Декларацию независимости **4 июля 1776 г.**

Если же мы захотели бы проследить исторически, как где-то, где в мире произошло зарождение идеи политической нации — допустим даже в том же самом 1620 г., — она не то чтобы сходит на нет и умирает не родившись — о нет, она парадоксальным образом живет не родившись, тратит силу в борьбе с внешними силами, но подчас, чего греха таить, и в междоусобной борьбе, но на этом, первом этапе, остается нереализованной, — то нам пришлось бы хотя бы кратко, поэтапно пройти по истории Украины за тот же самый период 1620–1775 гг. Но мы и этого делать не будем, а тоже зафиксируем лишь результативные моменты:

**А. 21 ноября 1764 г.** Вышел Указ об упразднении гетманского достоинства, положивший конец существованию автономной Украины в составе Российской империи.

Б. 16 июня 1775 г. (т. е. за год до Декларации независимости США) русскими войсками по приказу Екатерины II была полностью уничтожена Запорожская Сечь, ее имущество и архивы были вывезены в Петербург.

Запомним эти результативные вехи на будущее и перейдем к обещанной выше деконструкции метафоры «три братских народа»: к описанию механизма становления политической нации, формирования империи и к проблеме «имперской нации».

## 2. УКРАИНСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ВЛИЯНИЯ XVII–XVIII ВВ. НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВОГО ИМПЕРСКОГО МИФА

В самом начале нашего лекционного курса я обещал показать, «откуда ноги растут» у этого мифа, и глухо сослался на украинские и белорусские влияния XVII–XVIII вв., о которых до сих пор вообще мало что известно.

Сразу вопрос: *мало что известно кому?* И сразу стоит отделить насаждаемое *невежество* от добросовестного *неведения*.

Первое — т. е. *невежество* — это советское и постсоветское так наз. «историческое образование», результат которого мы видим в речах и статьях «коллективного путина».

Второе — т. е. *неведение* — это реально запущенное состояние источниковедения историографии Восточной Европы (причины которого мы не будем сейчас обсуждать).

В основе *невежества* — насильственное отключение не только школ, но и университетов от всей базы исторических источников. В СССР только случайно даже мы, историки русско-украинских и русско-белорусских литературных связей, узнавали, напр., о таком популярнейшем в XIX в. авторе XVIII в., как «псевдо-Конисский».

Кто, например, мог обратить наше внимание на вышедшее в 1835 г. в Петербурге 2-томное собрание сочинений белорусского церковника Георгия Конисского? Да никто иной как А. С. Пушкин, практически не подвергавшийся советской цензуре.

В первой же книжке издававшегося им журнала «Современник» Пушкин откликнулся статьей «Собрание сочинений Георгия Конисского, Архиепископа Белорусского». А мы в свое время штудировали

эту статью по пушкинскому 10-томнику, который чуть не ежегодно переиздавался в СССР, его можно было найти в каждой интеллигентной советской семье.

В этой статье Пушкин назвал белорусов «народом, издревле нам родным». Обратим внимание: именно не «братским», а «родным», имея в виду при этом не историческую, а лишь духовно-православную общность.

Статья начинается с упоминания о том, что архиепископ Георгий Конисский известен в России краткой речью, которую он произнес в Мстиславле императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 г. «Речь сия, прославленная во всех наших риториках, не что иное, как остроумное приветствие, и заключает в себе затейливую игру выражений и в умилительной простоте своей глубокое истинное красноречие».

Это замечание Пушкина — пример добросовестного *неведения* о том, что за этой «затейливой игрой выражений» стоит вековая барочная традиция «**плетения словес**» Киево-Могилянской академии. И что более чем за сто лет до того, как архиепископ Георгий Конисский встретил краткой речью императрицу Екатерину, митрополит Симеон Полоцкий встретил столь же краткой и столь же неотразимой в своей «сложной простоте» речью царя Алексея Михайловича.

В трудах же архиепископа Георгия Конисского Пушкина особенно поразило обширное сочинение «История русов». Пушкин в нем отметил глубокое знание истории не только Беларуси, но и Украины (?!), а также сочетание поэтической свежести, критики и страстной любви и боли за судьбы народов, их населяющих.

Впоследствии было с достоверностью установлено, что «История русов» Конисскому не принадлежит.

И да: до сих пор не установленный автор, получивший в историографии имя «псевдо-Конисский», несомненно впитал в себя не только мифы и факты неких известных нам, а также и до сих пор неизвестных летописных сводов, но — что важнее — дух и традиции своих украинских и белорусских предшественников — начиная еще с XVI в.

Один пример новооткрытого источника, показывающий, как нам, историкам этого периода, еще далеко до преодоления нашего добросовестного *неведения*.



В 1577 г. было написано по-польски, прозой и стихами, историографическое произведение «*O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego...*» («О началах, происхождении, деятельности, делах рыцарских и гражданских славного народа литовского, жемойтского и русского...»).

Примечательно, что самим названием **Матей Стрыйковский (1547 – между 1586 и 1593)** манифестировал написание синтетической истории политического, а не этнического народа Великого Княжества Литовского (ВКЛ), который объединял все три официальных политико-культурных компонента государства. Но названное произведение оставалось в рукописи до 2-й половины XX века, пока не было обнаружено и издано в 1978 г. Юлией Радзишевской. Поэтому непонятна степень влияния на историописание ВКЛ конца XVI–XVII века этого достаточно объемного труда. В любом случае можно говорить о творческих экспериментах самого Стрыйковского, который занялся столь масштабным проектом и к тому же «избрал поэтическую форму своего труда, очевидно, для изложения историографических концепций в обстановке магнатских дворцов». <sup>11</sup>

Обращаю внимание, во-первых, на само название статьи современного белорусского историка: т. е. теоретически «Русь» могла бы быть сконструирована на любой основе, не обязательно на московской. Во-вторых, обратим внимание на мифологическое число «народов», из которых она сконструирована. И в-третьих, на поэтическую форму донесения исторической концепции до магнатских дворцов: это такое непринужденное повествование о *sprawach rycerskich*, модификация рыцарского романа на основе повествовательной традиции европейского барокко.

Учтем блестящую характеристику этой традиции, данную лучшим современным нам специалистом в этом вопросе — Александром Викторовичем Михайловым. Это нам необходимо, чтобы понимать природу и характер мифа, с которым мы сейчас работаем:

«Создания эпохи барокко, включая и те, которые мы на нашем языке склонны называть «художественными», суть всегда запечатления известного способа истолкования знания — по преимуществу

<sup>11</sup> Дернович, О. И. Конструируя «Другую Русь»: Образы «Руси» в историописании Великого княжества Литовского XVI–XVII веков // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем. Смоленск, 2018.

способа традиционного ⟨...⟩. Вполне возможно даже допустить, что из числа таких созданий эпохи барокко, какие всякий раз суть подобные запечатления, те, которые мы назвали бы «художественными», выделяются лишь тем, что они не просто запечатлевают известный способ истолкования знания, но и воспроизводят его своим бытием — воспроизводят «символически» ⟨...⟩.<sup>12</sup>

Классические примеры книг барокко — книги вышеупомянутого **Симеона Полоцкого (1629–1680)**, в том числе и считающиеся художественными: «Рифмологион», «Вертоград многоцветный» и т. п.

Свою риторическую барочную школу этот автор, как и все, о которых мы далее будем в данной лекции говорить, прошел в Киево-Могилянской академии, последними великими выпускниками которой, уже в XVIII в., стали Михайло Ломоносов и Григорий Сковорода. (Они-то как раз всю свою последующую жизнь фактически посвятили *освобождению* от ее «науки», начиная риторикой и заканчивая мифологией).

После Киева Симеон, уроженец Полоцка, продолжил духовную карьеру на своей родине — в Литве и Беларуси. То была эпоха, которая тщила себя эпохой «окончательного выбора» православных Украины и Беларуси в пользу соединения с Москвией, в образе конечно же **вос-соединения**. И барочное «плетение словес» немало способствовало созданию этого образа. Вот именно тогда и сложился **миф о трех братских народах**, некогда разделенных, а ныне радостно обретающих друг друга.

Не упустим детали, которая ныне кажется невероятной и даже забавной. Именно отдельные представители украинского и белорусского православного духовенства, не находившие себе места в Речи Посполитой в условиях реализации Брестской церковной унии **1596 г.**, долго уговаривали и в конце концов уговорили московскую верхушку «принять братьев» — а в Москве были влиятельные чиновники, на это несогласные!

Один из них, **Афанасий Ордин-Нащокин (1605–1680)**, служил главой Посольского приказа, вел трудные переговоры с поляками, и это именно он заключил выгодный для России Андрусовский мир **1667 г.** Одним из первых в России Ордин-Нащокин осознал важность для нее «окна в Европу», т. е. выхода к Балтийскому морю.

<sup>12</sup> Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Часть 2 — литература Европы 17 века. <http://17v-euro-lit.niv.ru>

Он предлагал царю начать активные действия в этом направлении. Для этого он советовал заключить «вечный мир» с Польшей против Швеции.

Царь Алексей Михайлович не мешал Ордину-Нащокину мириться с Польшей, но воспринимал Андрусовский мир как временный. У царя был свой приоритет во внешней политике, и это была не Балтика, а Украина и Беларусь. Гордый своей ролью «воссоединителя земель православных», «тишайший» царь, распалясь, кричал Ордину-Нащокину, что «собаке» (польскому королю) «недостойно есть и одного куска православного хлеба». Наконец в **1671 г.** царь отстранил Ордина-Нащокина от должности главы Посольского приказа и назначил на его место боярина **Артамона Матвеева (1625–1682)** — сторонника «украинской линии» во внешней политике и, кстати, одного из воспитателей будущего царя Петра Алексеевича.

Но неизвестно, чем бы кончился этот, с тех пор обычный, «спор между башнями кремля», если бы царь с некоторых пор не был подвержен влиянию духовного свойства.

Начало этому влиянию было положено сразу после захвата Полоцка русскими войсками в **1656 г.**, когда монах Симеон приветствовал царя хвалебными стихами («Полоцкие метры») в исполнении своих учеников в братской школе при монастыре. Царь был в восторге и заказал Симеону еще один цикл подобных панегирических стихов («Витебские метры»), которые были озвучены во время посещения Симеоном Москвы в **1660 г.**

Тут уж царь его не отпустил, а приблизил к себе, сделав учителем своих детей, которым, да и самому царю, полоцкий монах все уши прожужжал о трех братских народах. Но даже этим его влияние отнюдь не ограничилось.

В **1667 г.** московская типография, находящаяся на верхнем этаже царского дворца в кремле (и устроенная самим Симеоном), выпустила книгу «Жезл Правления». Она вышла от имени церковного собора — того самого, с которого начался раскол русской церкви на никониан и старообрядцев. Именно этот раскол много способствовал тому, чтобы из российского нацеобразующего слоя была исключена (и не мешала нацеобразующей деятельности «верхов») самая активная (в религиозно-политическом смысле) часть «низов».

Имя автора на титульном листе не указано, однако он по-барочному зашифровал его в первых буквах каждой из строк акростиха в конце книги, где можно прочитать: «*Симеон Полоцкий трудился*». Важной частью книги является авторское предисловие, где объясняется значение духовной власти, символом которой является архиерейский жезл, изображенный на титульном листе книги; обосновывается право собора принимать любые решения для защиты и совершенствования духовной жизни общества.

Но тогда возникает естественный вопрос: а не выше ли Жезл Правления Духовного — жезла царского? Приободрился было патриарх Никон, давно твердивший, что «священство выше царства». Однако Симеон вступил и с ним в полемику и, естественно, взял верх, в результате чего патриарх лишился должности и сана.

Разумеется, Симеон действовал не один. Он нашел себе множество союзников среди прибывшего на собор украинского и белорусского духовенства. Чего стоил один лишь Черниговский епископ **Лазарь Баранович (1620–1693)**. Этот талантливый проповедник потрудился все свои проповеди собрать в 1666 г. и, аккуратно к собору, издать в типографии Киево-Печерской лавры. Вот как описывает это издание современный книговед: «Гравированный заглавный лист сложной композиции; на обороте стихи, посвященные царю Алексею Михайловичу; затем, на следующем листе, гравюра, также очень сложной композиции, с портретами, между прочим, царствующей семьи (...) на ветвях дерева, растущего на лежащем под ним князе Владимире».<sup>15</sup>

Словом, духовность сего «Меча» следовало бы взять под сомнение, барочность же его сомнению не подлежит. Особое внимание обратим на то, что «дерево» Романовых растет **прямо из киевского князя X века**. Тут стоит вспомнить, что

А. Романовы династия молодая и в описываемый момент представлена всего лишь вторым поколением.

Б. Отец царя Алексея — Михаил Романов — был назначен царем в 16-летнем возрасте, в силу политической целесообразности, а не личных заслуг или высокого происхождения. С киевским князем X в. он ни в каком родстве не состоял.

<sup>15</sup> Баранович, Л. (1666): Меч духовный. Киев <http://www.raruss.ru/slavonic/slav3/1627-lazar-baranovich-mech.html>.

Таким образом, перед нами классический пример **мистифицированной, искусственной, имперской нации, создаваемой чисто идеологическими средствами**. В этом своем имперском виде русская нация возникла не в результате четко выраженной воли народа, т. е. необходимости некоего нового объединения, осознанной именно «низами», а была навязана московскими «верхами» при квалифицированной помощи киевских «духовников».

Интересно, что при всём при том участие украинских церковников в российском соборе **1666 г.** по сути было нелегитимным, ведь Киевская митрополия не относилась к Московскому патриархату. Но эта формальность, во-первых, мало кому была известна, а во-вторых, усилиями киевской и московской церковной дипломатии уже в течение следующих двадцати лет была урегулирована. В **1686 г.** было получено официальное согласие константинопольского патриарха на переход Киевской митрополии к Московскому патриархату.

Это с современной точки зрения, когда мы знаем, «чем дело кончилось», нам кажется, будто украинское священство добровольно сунуло голову в петлю, которую Москва тут же плотно затянула. Сама же украинская элита второй половины XVII в., как духовная, так и светская, всё это оценивала с точностью до наоборот, упиваясь своей ролью более образованных (специально обученных в иезуитских коллегиях!) «духовников» московских царей и патриархов и мечтая о будущем украинце-патриархе (что в конце концов почти и получилось — но, как мы дальше увидим, всё дело и было в этом «почти»). Не случайно один из украинских выпускников польских иезуитских школ, а именно гетман Мазепа, был первым из «дальних», кто примчался поддержать государственный переворот, учиненный юным Петром I, оттеснил всех «ближних» и имел колоссальное влияние на царя вплоть до своей «измены» 1709 г. Но другой выпускник иезуитской школы, Феофан Прокопович, тут же пришел на смену первому и неизменно был у престола Петра до самой его кончины (о чем см. ниже).

Так или иначе, будущий имперский миф о трех братских народах киевским книжникам удалось не только протащить в московское царство, но и закрепить в петербургской империи. Как это точно сегодня обозначил украинский историк, «украинские церковники не только перенимали новые правила игры — они сами их формировали. Достаточно сказать, что **«Синописис»** — изложение прошлого Восточ-

ной Европы, которое написали киевские монахи и которое в течение долгого времени было самым популярным учебником истории в Российской империи (за 150 лет издавалось 30 раз), — всемерно акцентировал церковное единство Киева и Москвы и утверждал существование единого «славянорусского народа». По сути, идею России как славянской империи сформулировали не московские или петербургские, а киевские книжники». <sup>14</sup> Словом, «в начале XVIII в. влияние малоросов на Российскую империю было столь велико, что эта империя могла де-факто стать *малороссийской* империей». <sup>15</sup>

Но как же самой России удалось пропустить этап нормального зарождения нации, пройденный европейцами в начале XVII столетия?

**Она его не пропустила.** Вопрос о существовании русской (российской) нации был поставлен ребром, как это и полагалось в Европе, в начале XVII века. И ответ был дан положительный.

Именно в начале XVII века в стране началась так называемая Смута, по сути — гражданская война. Этим тут же воспользовалась Речь Посполита, к тому же получившая нежданый подарок истории в виде молодого авантюриста, объявившего себя чудом спасшимся сыном Ивана Грозного. Лжедмитрий I принял католическую веру, пообещал подчинить русскую православную церковь папе римскому и уступить Польше Чернигово-Северские земли. Взамен поляки предоставили ему большую финансовую помощь и снарядили войско. В июне 1605 г. Лжедмитрий вступил в Москву и был провозглашен царем Дмитрием Ивановичем. Царь Федор Годунов был убит.

XVI век, так хорошо для России начатый «в славе Третьего Рима», закончился полным бесславием. Многим казалось, что XVII век будет веком ее полной гибели. Русский народ разделился на два враждующих лагеря. Одни оплакивали гибель «всех законных наследников славного Рюрика» и в ужасе ожидали «конца света». Другие надеялись на «царя Дмитрия Ивановича». Во-первых, потому, что надеяться больше было не на кого. Во-вторых, потому, что Лжедмитрий I обещал раз навсегда прекратить Смуту и «всех простить». Но крови на его руках было еще больше, чем на руках Бориса Годунова. К тому же он привел в Москву подданных польского

<sup>14</sup> Грицак Я. Подолати минуле. С. 127.

<sup>15</sup> Там же. С. 130 (курсив автора цитаты).

короля и других иностранных наемников, которые чувствовали себя полными хозяевами и в столице, и по всей России.

Низы недолго терпели надругательство Лжедмитрия. В мае 1606 г. в ходе стихийного восстания самозванец был убит. Новым царем был правозглашен представитель старой боярской знати — Василий Шуйский. Однако осенью 1607 г. при поддержке поляков явился Лжедмитрий II. В 1609 г. регулярная польская армия двинулась на Москву. Против Шуйского был составлен заговор, в результате которого 17 июля 1610 г. он был свергнут. Власть в Москве до избрания нового царя перешла в руки совета семи бояр (Семибоярщины), которые впустили в Москву польские войска и пригласили на царский престол польского королевича Владислава.

Именно этот момент можно считать судьбоносным для русской нации. Как всегда в такие моменты, остро проявилась роль личности в истории. Против приглашения на престол Владислава выступил глава русской православной церкви — патриарх Гермоген. Он призвал русский народ сплотиться перед лицом общих бедствий и освободить Россию от иноземцев. Бояре заточили патриарха в темницу Чудова монастыря, где он умер от голода в начале 1612 г. Но призыв Гермогена к народу был услышан, и ответом стал созыв всенародного ополчения для освобождения Москвы. В феврале 1611 г. ополчение двинулось к Москве, ему удалось овладеть частью московского посада, но поляки удержали Китай-город и Кремль, и вскоре из-за внутренних противоречий ополчение распалось. Но осенью 1611 г. по призыву нижегородского купеческого старосты Кузьмы Минина стало формироваться второе ополчение. Главную роль в нем играли посадские люди. Военным руководителем ополчения стал князь Дмитрий Пожарский, возглавивший вместе с Мининым «Совет всей земли». В августе 1612 г. второе ополчение вошло в Москву, слившись с остатками первого. И в конце октября **1612 г.** (по новому стилю **4 ноября**) польский гарнизон в Кремле капитулировал.

Напомню, что именно начало XVII века — исторический момент зарождения наций. Средневековая религиозная идентичность, повлекшая за собой религиозные войны, постепенно, именно в процессе этих безысходных войн, сменяется национальной идентичностью. Кардинал Ришелье заявляет о том, что для него (католического кардинала!) неважно, кто католик и кто гугенот — важно, кто француз.

Гетман Петр Сагайдачный всё свое Войско Запорожское записывает в Киевское духовное братство. Отцы-пилигримы заключают «Мэйфлауэрский договор», четко заявивший о целях новой (хоть изначально и религиозной) общности переселенцев в Новую Англию. И т. д., и т. п.

В этот общеевропейский контекст прекрасно вписывается и решительный ответ нижегородских и всех примкнувших к ним «низов» на вопрос о том, станет ли Россия частью Речи Посполитой — или наконец определится в своей национальной идентичности. Вопрос о власти в этом контексте — технический. Земский собор 1613 г. избрал новым царем 16-летнего Михаила Романова, положившего начало новой царской династии.

И вот опять роль личности в истории. Если бы Алексей Михайлович — сын «основоположника» династии — не вообразил себя неким средневековым «собирателем земель» вроде Ивана Калиты, то можно было бы просто укреплять страну в ее определившихся (после изгнания поляков и их тогда еще союзников украинцев во главе с тем же Сагайдачным) естественных границах, далее развивая национальную идентичность обыкновенных русских людей, вроде нижегородского купца Кузьмы Минина.

А если бы царь Алексей не получил в свои руки «меч духовный» в виде мифа о трех братских народах, на скорую руку изготовленного в недрах Киево-Могилянской академии, то ему нечем было бы убивать эту идентичность и прорубать бес-славный путь к победобесию искусственно создаваемого оксюморонного монстра — имперской нации.

Короче говоря, вся эта история очень напоминает другую историю XVII века, но только не киевскую, а пражскую, рассказанную в начале XX века писателем Густавом Мейринком. Там тоже одно духовное лицо, некий раввин, «нашел в Каббале забытую инструкцию по изготовлению искусственного человека, так называемого Голема»: изготовил его и приспособил «для всякой грубой работы». Человек вышел так себе: «жил он тупой полусознательной жизнью, и то лишь тогда, когда раввин вкладывал ему в рот записку с магическими знаками. Однажды, когда он забыл вынуть сей лозунг (heslo) до вечерней молитвы, Голем впал в бешенство и стал носиться по улицам, круша всё на своем пути. Наконец раввин нашел его, перекрыл ему путь и вынул магическую запись у него изо рта. Тогда



истукан замертво рухнул на землю и рассыпался в мелкую глиняную крошку — вы до сих пор можете видеть ее в Староновой синагоге».<sup>16</sup>

Когда сегодня некоторые мои российские коллеги начинают утверждать, что никакой «отдельно взятой» украинской русистики нет и никогда не было, что она часть собственно русской русистики (и только с нею вместе — мировой), то некоторые мои украинские коллеги в судорожных поисках «начал» указывают на академиков А. А. Потебню, В. Н. Перетца, А. И. Белецкого и Н. К. Гудзия. Ответ неполный и неточный. Ведь, как мы видели, украинские русисты не только первыми стали изучать свой предмет — они, собственно говоря, его и создали. Первые русисты XVII столетия из киевской лавры и академии, подобно своему современнику из Праги, изобрели некий лозунг (*heslo*, по-украински *гасло*), с помощью которого дали жизнь имперскому монстру.

Впрочем, имперские лозунги разных эпох разнятся звучанием и мало разнятся значением, достаточно примитивным, и пусть бы монстр жевал свой лозунг, если б он не стал крушить всё вокруг себя. Теперь же всё должно быть по-другому, игры окончены, пора перекрыть ему путь, вынуть магическую запись у него изо рта и показать всему миру. И тогда — жаль не в одночасье, а постепенно — Голем рассыпется в прах.

---

<sup>16</sup> Meyrink, G. Golem. Praha, 2002. S. 41–42.



## ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

### ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС И ВСТУПЛЕНИЕ В ВЕК XVIII

#### 1. МИФ В ДЕЙСТВИИ

Наконец, из той же киевской академической школы, на сцену является и **Стефан Яворский (1658–1722)**. Является он уже при царе Петре Алексеевиче.

В январе 1700 г. киевский митрополит, отправляя Яворского с другим игуменом в Москву, послал с ними письмо патриарху, в котором просил учредить Переяславскую епархию и поставить в епископы одного из двух посылаемых игуменов. В Москве случайное событие выдвинуло Стефана: умер воевода Алексей Семенович Шеин, и на погребении его, в присутствии царя, проповедь поручили говорить Яворскому.

Петру понравились и проповедь, и проповедник; он приказал посвятить Стефана в архиереи какой-нибудь из великорусских епархий, «где прилично, не в дальнем расстоянии от Москвы». Стефан, тяготевший к Киеву, пытался отказаться от этой чести, но в апреле 1700 г. был назначен митрополитом Рязанским и Муромским. В том же году, после смерти патриарха, царь приказал Стефану быть местоблюстителем патриаршего престола.

Выбирая Стефана, царь прежде всего видел в нем человека с западной образованностью, которой он не находил в московском духовенстве. Очевидно, в глазах Петра Стефан был человеком новым, свободным от традиций старой московской партии. Приверженцы старины не радовались его назначению. Для Петра, однако, и Стефан оказался слишком консервативен. Пока деятельность Петра была посвящена политике, войне и заботам о просвещении, Стефан вполне сочувствовал ей. Но церковно-административная деятельность Стефана была не широка: власть местоблюстителя сравнительно с патриаршей была ограничена. Стало очевидно, что Петр и не думает назначать патриарха, а наоборот, предполагает уничтожить и самое патриаршество. Пользуясь запутанной формой схоластических проповедей, Стефан нередко делал неприязненные

намеки на действия царя. Как проповедник Стефан восхищал своих современников. Даже враги Стефана отзывались о его проповедях следующим образом: «Что до витийства касается, правда, что имел удивительный дар и едва подобныя ему во учителях российских обрестися могли: ибо мне довольно случися видеть в Церкви, что он мог во учении слышателей привести плакать, или смеяться».<sup>17</sup>

Между тем проповеди его продолжали барочную традицию «плетения словес». Пример: «Люди подобно рыбам. Рыбы рождаются в водах, люди — в водах крещения; рыбы обуреваются волнами, люди тоже».

Но пока Стефан на патриаршем месте гипнотизировал публику «плетением словес», Петр нашел себе в Киеве гораздо более активного пропагандиста его имперской политики — как в делах духовных, так и в политических.

**Феофан (Элеazar) Прокопович (1681–1736)** русский церковный и политический деятель, писатель, историк. По происхождению — украинец. Учился в Киево-Могилянской академии, в Польше и Риме, принял монашество. С 1704 г. преподаватель, с 1711 г. ректор Киево-Могилянской академии. В 1716 г. переехал в Петербург, стал ближайшим помощником Петра I в проведении церковной реформы (проповедовал цезаропапизм). С 1718 г. епископ псковский, с 1724 г. архиепископ новгородский. С 1721 г. вице-президент Синода.

В политико-философских трактатах **«Слово о власти и чести царской» (1718)**, **«Правда воли монаршей» (1722)** и других Прокопович доказывал необходимость в России «просвещенного абсолютизма», дальнейшего укрепления крепостного права, подавления народных движений.

Многочисленные проповеди («слова») Прокоповича были своего рода публичными лекциями на исторические темы, содержали оценку ряда событий и давали историческое обоснование политики Петра I (в **«Истории императора Петра Великого...»**), а также в других сочинениях: **«Краткая повесть о смерти Петра Великого, императора Российского»**, 1726; **«История об избрании и восшествии на престол... государыни Анны Иоанновны»**, 1730 и др.).

<sup>17</sup> Цит. по: Кагамлик С. Українська православна ієрархія ранньомодерного часу: інтелектуальний та духовний виміри. Київ–Тернопіль, 2021. С. 198.

Для нас самое интересное в том, что литературное наследие Прокоповича включает не только многочисленные прозаические и стихотворные произведения, но и одну из первых украинских исторических драм («**Владимир**», 1705). Эта драма для нашей темы представляет особый интерес именно своей еще не вполне ангажированностью, своей искренностью. **24-летний** автор конечно амбициозен, но он даже еще не догадывается, насколько высоко вознесет его судьба.

А с другой стороны, молодой преподаватель Киево-Могилянской академии по своим эстетическим вкусам и интересам недалеко ушел от своих студентов, для исполнения которыми и предназначена его «школьная» драма. Здесь много веселой буффонады, а в карикатурных образах языческих жрецов можно видеть каких-то прямо гоголевских бурсаков — вечно голодных, неопрятных, неуклюжих, — которые, видимо, с немалым удовольствием и на потеху товарищам играли самих себя.

Однако всё это рассыпается на репризы, если позабыть о главном — о **главном человеке в Киеве начала XVIII века**. Киевская бурса — его любимое детище, он неустанно о ней печется и ее отстраивает, и конечно его внимание должно быть лестно молодому преподавателю.

Кто же этот **главный** в Киеве **1705 г.** человек?

Не будем далеко ходить за ответом и откроем титульную страницу «Владимира» с вот таким Посвящением:

ВСІХ СЛОВЕНОРОСІЙСЬКИХ СТРАН КНЯЗЬ І ПОВЕЛИТЕЛЬ, ОТ НЕВІРІЯ ТЬМИ ВО ВЕЛИКИЙ СВІТ ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ДУХОМ СВЯТИМ ПРИВЕДЕН В ЛІТО ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 988; НИНІ ЖЕ В **ПРЕСЛАВНОЇ АКАДЕМІЇ МОГИЛО-МАЗЕПОВІАНСЬКОЇ КІЄВСЬКОЇ**, ПРИВІТСТВУЮЩОЇ ЯСНЕВЕЛЬМОЖНОГО ЕГО ЦАРСЬКОГО ПРЕСВІТЛОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО ОБОЇХ СТРАН ДНІПРА, ГЕТЬМАНА І СЛАВНОГО ЧИНУ СВЯТОГО АНДРЕЯ-АПОСТОЛА, КАВАЛЕРА **ІОАННА МАЗЕПИ**, ПРЕВЕЛИКОГО СВОЄГО КТИТОРА, НА ПОЗОР РОСІЙСЬКОМУ РОДУ ОТ БЛАГОРОДНИХ РОСІЙСЬКИХ СИНОВ, ДОБРІ ЗДЕ ВОСПИТУЄМИХ, ДІЙСТВІЕМ, ЄЖЕ ОТ ПОЕТОВ НАРИЦАЄТЬСЯ ТРАГЕДОКОМЕДІЯ, ЛІТА ГОСПОДНЯ 1705, ІУЛЯ 3 ДНЯ, ПОКАЗАННИЙ.

Здесь, **во-первых**, имеем редкое (если не единственное!) свидетельство о том, что Киевская академия в течение какого-то

непродолжительного времени носила не одно имя своего духовного основоположника Петра Могилы, но и имя своего высокого покровителя **Ивана Степановича Мазепы (1639–1709)**. *Во-вторых* — вопреки сложившейся еще при жизни автора (и несомненно им тщательно продвигаемой) традиции толкования сей его юношеской драмы — под символическим образом **князя Владимира**, ломающего вековые традиции, подразумевается вовсе **не Петр, а Мазепа!** Но 1-е и 2-е мы пожалуй оставим на сладкое, а сейчас займемся *третьим*, нам уже известным — всё тем же мифом о киевском князе раннего средневековья как о повелителе ВСІХ СЛОВЕНОРОСІЙСЬКИХ СТРАН — чтобы сие ни означало.

Не стань Прокопович тем, чем он стал, его талантливую юношескую драму никто бы и не знал, и не стала бы она одним из текстов, повлиявших на становление литературной **мифологии «трех братских народов»**. Но это только значит, что на ее месте оказалась бы другая. Вопрос не в том, а в другом: **как этот миф соотносится со славословиями «сепаратисту» Мазепе?**

## 2. ИЗ ИСТОРИИ АНТИМИФА. МАЗЕПА И ПЕТР: РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МИФОЛОГИИ. ЭКСКУРС: ЗАРОЖДЕНИЕ «МИФА МАЗЕПЫ» В «ИСТОРИИ КАРЛА XII» ВОЛЬТЕРА

Очевидный ответ (он дается многими историками): «сепаратизм» Мазепы был не идеологическим, не тщательно (хоть и в относительной тайне) подготовленным, а спонтанным. Он был вызван накопившимися обидами на то, как Петр на последнем этапе Северной войны вел себя и с самим Гетманом, и с Гетманским Войском Запорожским, и с самой Гетманщиной.

Но есть и неочевидный ответ, на котором, конечно, мы не будем настаивать по простой причине: тут **на смену одному мифу приходит другой**, возникший вскоре после смерти Мазепы и получивший свое первоначальное литературное воплощение не в России и не в Украине, а на Западе.

Романтический образ Украины в европейской литературе имеет свой общепризнанный и, для своего времени, весьма авторитетный первоисточник — **«Историю Карла XII, короля шведского» (1731) Вольтера (Франсуа-Мари Аруз, 1694–1778)**. Речь идет о той главе

этого обширного исторического труда, где описан украинский поход шведов, их поражение под Полтавой и бегство за Дунай.

Образованный читатель **Западной** Европы к началу 1730-х годов о Европе **Восточной** еще не знал практически ничего: не только об Украине, но и о России. У изящно написанной (вполне в духе «большого стиля» эпохи — рококо) и легко читающейся вольтеровской «Истории...» есть еще одно немаловажное достоинство: «Работая над книгой о Карле XII, Вольтер изучил обширную литературу, как научную, так и мемуарную».<sup>18</sup>

Тут, впрочем, в связи с нашей темой не может не возникнуть вопрос: а **какую** научную или мемуарную литературу Вольтер мог найти об Украине, о казаках и особенно о гетмане Иване Мазепе, о котором французский писатель со столь завидной уверенностью говорит в своем историческом труде? Вопрос отнюдь не риторический, но до сих пор мало изученный. Да и то малое, что имеем об украинских информаторах Вольтера, до сих пор, насколько мне известно, не выходило за пределы узкого круга украинских историографов.

Один из них, Илько Борщак, еще в 1926 г. опубликовал статью «Вольтер и Украина».<sup>19</sup> В ней он раскрыл имена некоторых лиц, непосредственно от которых Вольтером была получена информация об украинском походе Карла.

Основной информатор был весьма сведущ и надежен — правая рука Ивана Мазепы **Филип (Пилип) Орлик (1672–1742)**, бывший при нем генеральным писарем, а после смерти 70-летнего гетмана, последовавшей в Бендерах 21 сентября (3 октября) **1709 г.**, унаследовавший его булаву — и с ней ушедший в изгнание, на территорию, контролируруемую Османской империей.

Двадцать лет спустя — 29 декабря **1729 г.** — крестник Мазепы, 27-летний сын Пилипа Орлика **Григорий**, находившийся в Париже на службе французского короля, пишет отцу, интернированному в Салониках. Письмо посвящено готовящемуся приезду сына к отцу. Эта поездка имела не только важное семейное значение (отец и сын встретились после 10-летней разлуки), но и должна была служить началом тайной (по заданию самого кардинала де Флери) подготовки некой антироссийской акции. Бунт украинского казачества

<sup>18</sup> История всемирной литературы. М., 1988. Т. 5. С. 108.

<sup>19</sup> Борщак, І. Вольтер і Україна // Україна. 1926. № 1. С. 34–42.

в Российской империи (а именно его должны были готовить старший и младший Орлики) также имел своей целью ударить по польскому королю Августу и послужить интересам претендента на польский престол Станислава Лещинского — зятя Людовика XV.

В этом контексте Григорий Орлик в письме от 29 декабря 1729 г. передает отцу кстати пришедшуюся новость: «...какой-то французский дворянин составляет подробную историю жизни Карла XII». Григорий просит у отца дать этому французскому дворянину материалы о «проектах Мазепы» и об отношениях украинского гетмана с Карлом XII.

Не позднее начала марта 1730 г. Григорий Орлик получил от отца затребованные Вольтером материалы и передал их по адресу. Об этом он сообщает в письме от 6 марта: «Все Ваши инструкции получил... Материалы для жизнеописания Карла XII я также передал в надежные руки. Очень благодарен Вам за эти инструкции; здесь очень довольны Вами. **Особенно ценны сведения о гетмане Мазепе и то, что Вы рассказываете о его проектах. Только Ваша Светлость, доподлинно знающая этот проект, могла так его изложить.** Когда жизнеописание Карла XII увидит свет, пока неизвестно, ибо книга эта будет содержать в себе много неприятного для короля Августа: **все узнают о подлинном проекте блаженной памяти гетмана Мазепы и старшины казацкой нации, которая донныне так жестоко страдает.**»

Здесь особенно интересно выражение «передал в надежные руки», свидетельствующее о принадлежности автора жизнеописания Карла XII и поставщика материалов для этого жизнеописания к некоей тайной организации. Понять, к какой именно, большого труда не составляет. Как известно, масонство возникло в начале XVIII в. в Англии, и Франсуа-Мари Аруэ из своей длительной английской «командировки» (1726–1728) вернулся уже Вольтером. Карьера же Орлика-младшего — сначала резидента французского правительства в Восточной Европе, а затем генерала французской армии и видного члена одной из масонских лож — всецело определялась его принадлежностью к этой организации.

Известно, что Мазепа вывез в Бендеры и перед смертью вручил Орлику не только гетманскую булаву, но архив и казну. С тех пор время от времени возникали и продолжают возникать слухи о «золоте Орлика», так и оставшемся ненайденным. Предвидя



возникновение подобных слухов и стараясь их предотвратить, Орлик-старший в своем рассказе о бегстве Мазепы, использованном автором «Истории Карла XII», признает, что Мазепа, действительно, «вез с собой несколько сундуков, наполненных деньгами». Но при переправе через Днепр «по причине сильного течения и жестокого ветра пришлось выкинуть за борт более трех четвертей сих сокровищ, дабы облегчить суденышко».<sup>20</sup>

Впрочем, Орлики могли быть хотя и основными, но не единственными украинскими информаторами Вольтера. Он начал работу над своей книгой о Карле еще в 1728 г. в Англии и, как мы видели, активно продолжал ее по возвращении на родину, по крайней мере вплоть до весны **1730 г.** Многие участники исторических событий и хранители исторических документов времен Полтавской баталии **26 июня 1709 г.** в то время были еще живы, Вольтер же был твердо убежден: «Когда имеешь дело с историей, ничем нельзя пренебрегать, и следует советоваться, если это возможно, и с королями, и с лакеями».<sup>21</sup>

За Мазепой в Бендеры ушли около 50 видных представителей казацкой старшины, почти 500 казаков из Гетманщины и более 4 тыс. запорожцев. «Мазепа положительно настаивал, чтобы его сторонники брали с собою жен»,<sup>22</sup> — отмечал М. де Пуле, специально изучавший вопрос об украинской эмиграции после Полтавы.

Общим голосованием казаки, последовавшие за Мазепой, после его смерти утвердили Пилипа Орлика гетманом в изгнании. И хотя еще при жизни Мазепы, 11 ноября 1708 г., те казаки, которые не поддержали союз со шведами, избрали себе гетманом Ивана Скоропадского, наличие двух гетманов никого не смущало, ибо не раз уже и до того встречалось в истории Украины. Написав первую украинскую (некоторые утверждают, что и первую в мировой истории) конституцию («*Pacta et constitutiones*»), Орлик в 1711 г. снарядил и возглавил в поддержку Карлу и его союзникам-туркам запорожско-татарский поход в Украину, но был разбит войсками Скоропадского. Окончательно разочаровавшись в южной кампании

<sup>20</sup> Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. СПб., 1999. С. 134.

<sup>21</sup> Цит. по: История всемирной литературы. Т. 5. С. 108.

<sup>22</sup> Де Пуле, М. Малороссийские эмигранты при Петре Великом // Вестник Европы. 1872. № 1. С. 68.

Северной войны, Карл XII в 1715 г. отбыл на родину, а три года спустя погиб в норвежском походе. Без Карла мазепинцы вдруг оказались никому не нужны. Тысячи запорожцев осели в Молдавии (ср. известную с XIX в. оперу Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем»). Сам же Орлик со своим ближайшим окружением отправился в дипломатический вояж по западноевропейским столицам, затем, как было сказано, в 1719 г. был выслан во владения султана и там интернирован, но на Западе остался не только его, тогда 17-летний, сын, но и многие из его свиты.

**«Украина всегда хотела быть свободной» («L'Ukraine a toujours aspire a etre libre»)**,<sup>23</sup> — пишет Вольтер в «Истории Карла XII». С легкой руки Вольтера фраза, освященная его авторитетом, стала ключевой для создания художественного образа Украины в европейской литературе — и русская литература не стала здесь исключением!

Далее, однако, французский писатель указывает основную причину, из-за которой надежда на свободу и независимость не могла осуществиться — наличие сильных, амбициозных и враждебных друг другу соседей: «⟨...⟩ Окруженная со всех сторон Московией, владениями султана и Польшей, ⟨Украина⟩ принуждена была искать для себя защиты в лице властителя одной из сих трех держав».

Вольтеру легко можно было бы возразить, что наличие таких вечно враждебных друг другу соседей при умелом использовании этой вражды украинскими политиками как раз наоборот могло бы благоприятно сказаться на удовлетворении государственных амбиций украинской элиты. А то, что таковые на самом деле существовали, видно хотя бы из исторических преданий, сохранившихся в семье Гоголей об одном из предков автора «Тараса Бульбы» — гетмане Евстафии Гоголе. Предания эти прямо отразили метания украинской элиты между тремя основными чужеземными игроками на украинской политической арене.

Однако «Полтава» Пушкина, «Тарас Бульба» Гоголя и вообще развитие образа **«украинской вольницы»** — тема еще даже не следующей лекции. Ведь не одним же Вольтером «питались слухи» о ней? Вот о том, чем они «питались», мы и поговорим в следующей лекции.

<sup>23</sup> Voltaire. Histoire de Charles XII, Roi de Suede. P., 1817. P. 162.

## ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

### ОПРОЩЕНИЕ

В прошлый раз мы закончили наши рассуждения вопросом о том, чем еще, кроме популярного исторического труда Вольтера, в Европе XVIII века «питались слухи» об Украине. А это те самые слухи, из которых и рождались мифы, «навечно» закрепляемые и европейской, и особенно русской литературой в массовом сознании.

Тут еще надо учесть, в какую эпоху возникла **украинская тема в европейской литературе**. Веселый XVIII век — эпоха рококо — зациклен на амурных приключениях. Европейская аристократия в этой теме чуть не с детства. Русская ей в этом, как и во всем, рабски подражает. Теперь представляете себе, какова дочь Петра Великого?.. И вот почему ярче всего у всех на памяти некое амурное приключение, историческая случайность, казалось бы мелочь — из тех, с каких всегда и начинаются все большие исторические эпохи.

Речь идет о случайной встрече двух молодых людей, ровесников (**символического 1709 года рождения — года Полтавской битвы**), которые по всем признакам не должны были бы встретиться никогда.

Но — 22-летняя принцесса Лизетт знала толк в винах и в юношах. А Певческую мужскую капеллу она взяла под свое особое попечение. И один из приближенных молодой Елизаветы Петровны, полковник Федор Степанович Вишневецкий, лично отвечал за поставки токайского вина к столу Ея Императорского Высочества и имел еще и дополнительную миссию: по дороге из Венгрии присматривать для Капеллы голосистых и видных собою парней.

А по дороге из Венгрии, как известно, лежит Украина. А никого и голосистей, и красивей **Олексы Розума** не было во всей Козелецкой сотне. И так скучающая принцесса Лизетт полюбила простого украинского козака Олексу.

Юная принцесса Фике — будущая Екатерина II, — прибыв в Петербург, впервые увидела **Алексея Григорьевича Разумовского (1709–1771)** в возрасте уже под 50. И под старость она вспоминала, что он был одним из красивейших мужчин, каких она встречала в своей жизни (а уж кто-кто, а она встречала). Что уж говорить

о том Олексе, которого в возрасте 22 лет впервые увидела принцесса Лизетт.

Судьба их обоих была решена. Зная Елизавету Петровну, легко предположить, что **этот** подарок судьбы был для нее даже важнее, чем дворцовый переворот, благодаря которому десять лет спустя она стала полноправной императрицей. Да что уж там предполагать: разве когда ей, ставшей императрицей, придворные предложили отказаться от Алексея и подыскать себе мужа по чину, она не ответила: «*Между короной и любовью — выбираю любовь*»? Так и осталась, подобно своей английской тезке XVI века, «королевой-девственницей». Обе владетельные тезки таковыми остались, разумеется, лишь официально.

На этом, пожалуй, сходство кончается. Английская королева XVI века окружила себя не просто красивыми мужчинами, а умными прогрессивными «елизаветинцами», что способствовало рывку Англии в ее светлое имперское будущее. А русская царица XVIII века своими «елизаветинцами» сделала украинцев.

Отец ее, Петр Великий, как мы помним, из того же самого источника черпал фанатичных «петровцев», предателей мазепинской Украины, вроде Феофана Прокоповича. Однако Олексу Розума трудно назвать предателем — совсем наоборот! Дело в том, что Олекса, как все украинцы, не просто обожал свою многочисленную родню, но и считал себя за всю ее в ответе. В результате родня осела в Санкт-Петербурге. Особо опекаем был любимый и талантливый брат Кирюша.

Первым делом Кирилла обучили грамоте (а он был неграмотен!), затем отправили учиться за границу, а в 18 лет, «в рассуждение усмотренной в нем особой способности и приобретенного в науках искусства», назначили президентом Петербургской академии наук.

Мало того: Алексей Григорьевич почитал своей родней и всю Украину. Он тихой сапой подбирался к Елизавете, уговаривая ее сменить гнев на милость: гнев своего покойного отца на покойного Мазепу — на свою царскую милость: восстановила чтоб автономную Гетманщину. И когда согласие было наконец дано и возник вопрос о гетмане, то, разумеется, кандидатура **Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803)** была вне конкуренции — опять же «в рассуждение усмотренной в нем особой способности». В 22 года

(вот чудный возраст для братьев Разумовских!) новоиспеченный гетман в новом статусе после долгой разлуки вернулся на Родину.

Но вот что забавно: способности таки были у нового гетмана (гетмана, как оказалось, до 1918 года последнего, т. е. в общем числе **предпоследнего** гетмана в истории Украины).

Став гетманом и упросив царицу даровать ему, впридачу к гетманской должности в тогдашней официальной **украинской столице Глухове**, еще и близлежащие волости, в том числе Батуриинскую, Кирилл рьяно принялся за возрождение и самого **Батурина — бывшей столицы преданного анафеме Мазепы**.

Целыми днями гетман «со своею ватагою» слонялся по развалинам, намечая, где поставить новый гетманский дворец, а где кафедральный собор и даже университет — который, без сомнения, будет получше того, что открывает граф Шувалов в Москве!<sup>24</sup>

19-летнего рыжеватого (рудого) хлопца **Панька (Афанасия) Яновского (1738–1805)**, выпускника всё той же **Киевской академии**, молодой гетман заприметил с первой встречи. Заговорил. Проэкзаменовал. Ненадолго оробел Панько: всё же сам президент академии наук ученость выпытывает. Но быстро освоился и разговорился: интересно было говорить с Кирилл-то Григорьичем, где только в Европе не обучавшимся и где только не бывавшим.

Да и президенту академии наук и новоиспеченному малороссийскому гетману всем пришелся киевский богослов. Не московский недоросль, не увалень запорожский — юркий, маленький, умный, Писание знающий, но не святоша, да еще страстный архивариус и, как признался не таясь, — почитатель мазепинской и домазепинской старины.

Осталось бы только добавить: **дед еще не рожденного будущего величайшего писателя Николая Гоголя**. Но этого, разумеется, Афанасий Яновский и сам знать не мог.

Впрочем, такой молодежью, как Афанасий, Бог и вообще-то Украину того времени не обидел:

**«При Гетмане было более в крае у нас грамотеев, нежели в настоящее время, когда они рассеялись по всему обширному Русскому Государству».**<sup>25</sup>

<sup>24</sup> См.: Оглоблин, О. Люди старої України. Мюнхен, 1959. С. 14.

<sup>25</sup> Царынний Андрій. Мысли Малороссіянина по прочтении повестей Пасичника Рудого-Панька // Сын Отечества и Северный архив. — 1832. — Т. XXV. — С. 298.

Уже **Григорий Сковорода (1722–1794)** возвращался из Троице-Сергиевой Лавры в родные края, уже писал свой «**Сад божественных песней**». Давно ли вместе со старшим братом гетмана, Олексой, пел Грицько в придворной капелле — и как разошлись-разбежались судьбы наших **козацьких хлопців!**

Григорий — Грицько, Афанасий — Панько... Культивируется опрощение, близость к народу. «Учености» это поколение требует уже не вообще, а по конкретным дисциплинам. Киево-Могилянская академия по инерции еще сохраняет авторитет, но прибывший сюда доучиваться из Москвы **Михайло Ломоносов (1711–1765)** оставался здесь лишь несколько месяцев (в **1734 г.**): не найдя там совершенно материалов по физике и математике, он, как осторожно говорит один из первых его биографов, «прилежно перечитывал летописи и творения святых отцов».

А тот же Грицько Сковорода, питомец той же академии, на предложение сделать ученую карьеру и стать «столпом богословия» ответил предлагающим: «*Довольно и вас, столбов нетесаных*». Ответ, прямо скажем, немислимый для какого-нибудь Феофана Прокоповича, при всей его борьбе с «чистым академизмом».

Сковорода, поступив в Академию в возрасте 12 лет, обучался в ней с **1734** по 1741, с 1744 по 1745 и с 1751 по 1753 гг. (получается, что 12-летний Сковорода теоретически мог быть знаком с молодым Ломоносовым). Постепенно у Григория Сковороды складывается оригинальная философская идея о **сродном труде**. Суть ее состоит в утверждении единственного и неповторимого Божьего призвания для каждого человека. Черт же (а к слугам его Сковорода относит и тех, кто упоает и, особенно, сеет и поддерживает упование на коллективное спасение на путях **формальной** религиозности), напротив, требует от человечества «коллективизма».

Вот как комментирует Сковороду выдающийся современный философ (и мой учитель) **Мирослав Попович (1930–2018)**: «Сугубо индивидуальный, персоналистский путь поисков счастья открыт каждому в каждый момент истории и в каждом месте на земле. А самым большим препятствием на этом пути (...) является коллективизм человеческий, зависимость личности от общины, подчинение безликой массе, ее «здравому смыслу», *sensus communis*».<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Попович, М. Григорій Сковорода: філософія свободи. Київ, 2007. С. 221–222.

Возможно ли было проповедовать такую философию с кафедры Киевской академии? Конечно нет. И философ «уходит в народ», становится «странствующим», пишет стихи и басни, в которых и развивает свою философию.

Но вернемся к становлению **украинской темы** в связи со слухами и сплетнями XVIII столетия. Говоря о них, мы уже начали пользоваться, в частности, и теми, которые через отца и деда усвоил себе **Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)**, знаменитый автор «**Вечеров на хуторе близ Диканьки**» (1831–1832).

Гоголеведы не раз отмечали, что излюбленные нарративы Гоголя — это нарративы XVIII столетия, по которым и сама реальность этого столетия легко восстанавливается. Попробуем продолжить вслед за Гоголем это делать.

...Быстро пролетела юность Панька Яновского и его друзей при гетмане Кирилле Разумовском. Вознеслись и рухнули надежды, как недостроенный Батулин. Умерла благодетельница Елизавета Петровна, недолго процарствовал и племянник ее Петр III, свергнутый коварною женою-немкою Фике (будущей Екатериной Великой). Та, конечно, правление Разумовских терпеть не стала, объявив в Государственном Совете, что желает пресловутому малороссийскому гетманству положить конец.

И тогда задумалось вельможному гетману послать за чем-то к царице «грамоту».

Вот как, примерно, на вечерах на хуторе близ Диканьки рассказывал **Василий Яновский (1777–1825)** эту байку со слов своего отца, Афанасия Яновского:

«Тогдашний полковый писарь, вот нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Віскряк не Віскряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек... знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвал к себе деда (*т. е. деда тут же присутствующего Никоши — В. З.*) и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице».

Правильное название руководителя гетманской канцелярии — **генеральный** писарь. А комичность попыток вспомнить «прозвище» (**прізвище**, по-украински фамилию) генерального писаря при гетмане Разумовском определяется прежде всего тем, что фамилия эта у современников Гоголя, что называется, «на слуху», ведь речь идет об Андрее Безбородко, и даже такой «простой», «деревенский»

человек, как персонаж предшествующей повести в «Вечерах» (голова из «Майской ночи»), легко вспомнил сына Андрея Безбородко — Александра Андреевича (с 1775 г. — секретарь Екатерины II, с 1783 — фактический руководитель внешней политикой России, в 1797 — канцлер, в 1799 — князь, фундатор Нежинской гимназии высших наук). **Віскряк, Мотузочка, Голопуцек** — образно-ассоциативный ряд, по которому в целом верно продвигается рассказчик в попытках припомнить «прозвище», связанное с чем-то «голым» и «гладким», т. е. **Безбородко**. И надо сказать, что Василий Афанасьевич Яновский, сам автор малороссийских комедий, был большой мастер такого рода комического обыгрывания имен и фамилий.

Итак, генеральный писарь Андрей Безбородко позвал к себе Панька Яновского и поведал ему, что наряжает его сам гетман гонцом с грамотою к царице. Панько недолго собирался — парень был холостой. Грамоту зашил в шапку, вывел коня и пустился вскачь.

Уже в царствование Елизаветы Петровны существовали везде учрежденные почты. Казалось, что бы гетману Разумовскому не отправить свое письмо к царице специально на то и существующей курьерскою почтой? «Нет, угораздило же его послать к Екатерине такого простака, который зашил бы грамоту в шапку!»<sup>27</sup>

А и то сказать: простак-то он, Панько, простак, зато верный и преданный! Грамоту, сургучом запечатанную, как было велено, доставил в собственные Ея Величества белые ручки! Что было в ней и чем помогла она гетману Кириллу — то не Панька ума дело...

Так или иначе, но с гетманством пришлось расстаться не только Кирилл Григорьичу, но и всей Украине. Новая «государыня-матушка» упразднила сей титул «за ненадобностью». А новому правителю Украины повелела всю старшину, всех грамотных и полезных империи служивых людей произвести, без аристократического чи-стоплюйства, в дворяне. Малороссийских же холопов к собственным их малороссийским дворянам навечно прикрепить — дабы и тут установился ясный и правильный сословный порядок, как и по всей империи Российской.

Екатерининский указ, зачитанный всем чиновникам и всему козачеству малороссийскому, гласил: «По Всемилостивейшем от Ея Императорского Величества увольнении графа Разумовского

<sup>27</sup> Царынний Андрій. Цит. соч. С. 299.



**по прошению его** (?!! — В. З.) от гетманского чина, повелевает Ея Императорское Величество Сенату для надлежащего Малой России управления учредить там Малороссийскую коллегияю».

Итак, история, которая *якобы* случилась с последней грамотой последнего гетмана перед ликвидацией Гетманщины царским указом 1764 г. («Пропавшая грамота», по нашей версии рассказанная Гоголем по семейным преданиям и от имени собственного деда), могла бы и в самом деле претендовать на некоторую историчность.

Будучи всерьез озабочен не столько своим будущим, сколько будущим Украины, Кирилл Разумовский вполне **мог** отправить с верным посланником отчаянное тайное письмо Екатерине, прибегнув к неизвестным нам аргументам, но явно уж таким, что приберегаются на крайний случай.

К каким, например? Да мало ли... В конце концов, если с морганатическим супругом грозной тетки ее мужа у Фике, пожалуй, ничего не могло быть, то с его братом — почему бы и нет? «Он был хорош собой, — впоследствии вспоминала Екатерина, — оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил своего брата, который также был красавец».

Или чего похуже... Ведь, в конце концов, Кирилл Григорьевич был активным участником переворота в пользу Екатерины и в качестве командира Измайловского полка, и в качестве президента Академии наук (манифест о восшествии Екатерины на престол был напечатан в типографии Академии). Мог ведь он что-то такое знать, что могло компрометировать новую государыню? Недаром по смерти ее Павел I хотел вызвать Кирилла Григорьевича на допрос «по этому делу». Как раз по этому поводу Кирилл Григорьевич, известный при дворе остроумец, презентовал свой последний *bon mot*: «Скажите государю, что я умер».

И впрямь, если что и знал, то унес с собой в могилу. На что уж было все это ворошить в 1796 году? А вот в 1764 году Екатерина не дрогнула, не убоялась шантажа (если он был).

Отчего же не сработала заветная тайная «грамота»? «Пропала», в смысле — не дошла до адресата? Нет, даже по Гоголям (деду, отцу и сыну) — она таки дошла, но со второго раза, когда упрямый главный герой повести, будучи вынужден вернуться домой (тут, видите ли, некоторые обстоятельства...), все-таки вновь отправился в Санкт-Петербург и лично видал там царицу: «...сидит сама, в золотой короне,

в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест».

Так что ж за обстоятельства такие? В каком смысле грамота «пропала»? Почему с первого раза не доехала?

Да, видите ли, случилась некая заминка... И где же? Да в самом начале пути. В том самом **Батурине**, который Петр I велел «другим на приклад сжечь весь», а Кирилл Разумовский попытался возродить — да тут вмешался... *чёрт!* И вместо того, чтобы ехать из Батурина на северо-запад напрямик в Санкт-Петербург, наш герой, запутанный чёртовыми происками, едет ровно в противоположном направлении — на юго-восток, чем и пеняли ему простаки-критики: «Стоит взглянуть на почтовую карту, и всякий увидит, что посланный к Царице даже дороги не знал из Батурина на север: ибо нелегкая его занесла в Конотоп, лежащий 30 верст назад».<sup>28</sup>

Данная реплика рецензента по контексту должна прочитываться как упрек самому автору «Вечеров...», который якобы не знает географии Северо-Восточной Украины. Что в данном случае уж вовсе лишено смысла: как любой выпускник Нежинской гимназии высших наук, Гоголь хорошо понимал, где расположены соседние с Нежином Батурин и Конотоп.

С другой стороны, выражение рецензента *нелегкая его занесла* вынуждает подозревать, что он на самом деле что-то знал о недоброй славе **Конотопа** и таким образом должен был понимать, что персонаж повести с самого ее начала отправился «не туда» вовсе не из-за авторской ошибки, а именно следуя авторскому художественному замыслу. Так, замечание в тексте о **Конотопской ярмарке** настраивает читателя этой, последней повести из первой книжки «Вечеров» на новую встречу с разной нечистью, которая, как нам уже известно из первой повести той же самой книжки («**Сорочинская ярмарка**»), на ярмарках-то и активизируется в украинских городках. Что же касается конкретно Конотопа, то **Григорий Квитка-Основьяненко (1778–1843)** в это же самое время собирал легенды о конотопских ведьмах. Его повесть «**Конотопская ведьма**» была среди рукописей, переданных им В. А. Жуковскому в октябре **1837 г.** в Харькове, и таким образом литераторам пушкинско-гоголевского круга стала известна лишь после смерти Пушкина и отъезда Гоголя за границу

<sup>28</sup> Царынный Андрій. Мысли Малороссіянина... С. 300.

(вышла в 1839 г. в №№ 13–15 «Современника»). Т. е. на гоголевскую «Пропавшую грамоту» повесть Квитки повлиять не могла. А это значит, кроме всего прочего, что в нашем поиске простых («опрошенных») и общеизвестных мифологических преданий, объясняющих (конечно, по-своему) сложные исторические процессы XVIII ст. и одновременно закрепляющих их в исторической памяти, — мы на верном пути. Что же касается **исторической памяти**, тут нельзя не согласиться с современным нам украинским историком: она «имеет такое же отношение к настоящей истории, как наркотик к лекарству: быстро дает облегчение, но болезнь не ликвидирует».<sup>29</sup>

Но вернемся к нашему сюжету и зададим простой вопрос: **а что хорошего и можно было ожидать от грамоты, прошедшей через... ад?** Да-да, именно в этом смысле «пропала» грамота, «благополучно» врученная царице: кто ж знает, что в ней было изначально — и что стало после того, как **ее похитил чѐрт?**

«Добрые люди и не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил чѐрт. Другие же прибавили, что когда **чѐрт да москаль** украдут что-нибудь — то поминай как и звали».

В данном случае эти двое **в очередной раз** украли не более и не менее, как **становящуюся независимость Гетмашины-Украины**.

Гоголь, кстати, всегда точно и соответственно описываемой эпохе употребляет этнонимы. Простой украинец никак иначе не мог назвать россиянина (чтобы как-то отличить его от себя и «своих»), кроме как «москалем»: «Для простого украинца с Левобережья россиянин-«московит» ассоциировался прежде всего с солдатом-«москалем» (российская армия рекрутировалась только с великорусской территории)».<sup>30</sup> Что же касается территории, где жили «свои», то тут в XVIII в. наблюдалась большая путаница: «Сковорода, напр., называл матерью своею Малороссию, а теткой — Украину, разумея под Малороссией родную Полтавщину с Киевщиной, а под Украиной — Слобожанщину, или Слободскую Украину. На полстолетия раньше у Мазепы встречаем выражение «Малороссийская Украина» (...) Употребляя слова „украинцы“ и „русские“, мы не должны забывать о том, что так во времена Сковороды никогда не говорили».<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Грицак, Я. Подолати минуле. С. 17.

<sup>30</sup> Попович, М. Григорій Сковорода. С. 106.

<sup>31</sup> Там же. С. 105, 106.

Но несмотря на то, что в Украине XVIII в. не употреблялось слово «украинцы», как и слово «русские» (и тем более «великоросы»), сами эти нации, как мы видели, зародились «вовремя», т. е. еще в XVII в., и с того же самого времени ведут отсчет и русско-украинские культурные (литературные) связи, и русско-украинские политические конфликты. И можно говорить об активной роли той части украинской элиты, которую отец новейшей украинской историографии **Емельян (Омелян) Прицак (1919–2006)** называл «политическими украинцами». Это политики, озабоченные интересами «Малороссийской Украины» как они ее понимали (конечно, это не вся нынешняя территория Украины с населением, в середине XVIII в., 8 млн. чел., а та ее часть, с населением 2 млн. чел., что в то время административно относилась к Российской империи). Это и тот же Иван Мазепа и «мазепинцы», и тот же Кирилл Разумовский и его окружение (среди которых мы отличили деда Гоголя). А то, что оба помянутых украинских гетмана, каждый в свое время, входили и в российскую (придворную) элиту, не только не мешало им отстаивать украинский политический интерес, но и открывало для этого широчайшие и подчас неожиданные возможности.

Так что весьма может случиться, что Екатерина, еще не очень великая, прочти она подлинную «грамоту» гетмана Разумовского, то и подавилась бы золотой галушкой. Вместо этого она так обрадовалась «грамоте», что насыпала гетманскому посланцу «целую шапку синицами» (т. е. синими 5-рублевками: полная козацкая шапка таковых купюр — это по тем временам целое состояние). А почему она так обрадовалась — **чёрт ее знает**. Во всяком случае, **он-то** точно знает, что **он-то** любое послание переворачивает ровно наоборот. Вот, стало быть, откуда в царском указе эти слова об **увольнении графа Разумовского по прошению его!** По прошению, в царских архивах отсутствующему: чёрт его принес, чёрт и унес...

И вот с момента, описанного Гоголем в «Пропавшей грамоте», т. е. с **1764 г.**, проходит **11 лет**, и новый вопрос возникает: как быть с **Запорожской сечью** — этим, в представлении Екатерины, «гнездом разбойников, существовавшим грабежами и пребывавшим в совершенной праздности, гнуснейшем пьянстве и презрительном невежестве»?<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Полонська-Василенко, Н. Історія України. К., 1993. Т. 2. С. 137–138.

В сущности история, которая *якобы* случилась с последней депутацией последних запорожцев перед ликвидацией Сечи царским манифестом 1775 г., тоже могла бы претендовать на некоторую историчность. Ведь то, что описанная в «**Ночи перед Рождеством**» Николая Гоголя депутация запорожцев на самом деле и была уже последней, легко доказывается с опорой на косвенно помянутые в повести исторические факты. Рассмотрим их.

Итак, **чёрт дернул** Оксану потребовать у Вакулы такие черевички, как у царицы (это еще не исторический факт — просто принятое в козачестве убеждение: **все зло від жінок**). Следующий ход чёртовой многоходовки: **он** сделал вид, что поддался Вакуле, дал ему себя оседлать и направить свой полет точнехонько на Санкт-Петербург, и это тоже еще не исторический факт. История — **настоящая** история — начинается ровно с момента снижения сего волшебного лайнера над имперскою столицей.

Гоголеведы дружно с этим несогласны (тут можем цитировать любого, но мы не будем обижать никого). Дескать, и Диканька выдумана, со всем ее одомашненным колдовством, и Петербург таким не был, каким его Вакула увидал... О Диканьке — как там «народ угождает сатане» — мы еще поговорим, но теперь — о Петербурге.

Чёрт начинает свое снижение над «**домами, униженными площадками**». Казалось бы — ну чёрт знает что! И он действительно это знает: мы помним «**Невский проспект**», одну из петербургских повестей того же Н. Гоголя, где сказано, что именно **он** зажигает фонари на главной улице столицы. Вакула принимает городской фонарь за сельский каганец, мерцающий в плошке, в которую налито топленого сала. Но и на самом деле разницы особой нет ни в принципе работы тогдашних фонарей, ни, что важнее, в восприятии их не только Вакулой, но и самим Гоголем — ср. в «Невском проспекте»:

«Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом».

Но вот наконец Вакула в царском Зимнем дворце. И кого же он там встретил? Ну, говорят гоголеведы, это уж полный абсурд, смешнее не придумаешь!

На самом же деле смешного и тут не больше, чем в словах Рудого Панька в предисловии — о том, что сады новоиспеченного

князя **Виктора Павловича Кочубея (1768–1834)** в Диканьке могли бы конкурировать и с петербургскими... Ну да, могли бы, и что? Я вам больше скажу: триумфальная арка, возведенная Виктором Павловичем при въезде в Диканьку — в честь приезда в гости к нему самого императора Александра Павловича — тоже могла бы конкурировать с любой столичной...

Итак, в Зимнем дворце Вакула встречает никого иного, как **запорожцев**, знакомых ему лично, ибо именно через Диканьку (а через что ж еще?) они и **ехали из Сечи с бумагами к царице**, и он, Вакула, им коней подковал.

О том, кто именно ковал коней запорожской депутации, — история умалчивает. Но зато она, история, помнит твердо, что «с **1756** года в Петербург почти без перерыва, одна за другой, прибывали депутации (запорожских) козаков с ценными подарками вельможам — бочками вина, рыбы, лучшими конями и даже верблюдами. Умоляли, показывали копии **грамот**»<sup>33</sup> (sic!).

Но чем же можно доказать, что в повести Гоголя речь идет именно о **последней** депутации последних запорожцев перед ликвидацией Сечи манифестом **1775 г.**? Доказать можно следующими фактами.

**Потемкин Григорий Александрович (1739–1891)** — российский государственный и военный деятель, всесильный фаворит Екатерины II — описан, конечно, с некоторыми, тем более характерными, анахронизмами. Так, он тут назван «гетьманом», хотя «Великим Гетманом казацких Екатеринославских и Черноморских войск» он был провозглашен лишь в 1790 г. В описываемое же время (**конец 1774 — начало 1775 гг.**) только что, аннексией Крыма (Таврии), **завершилась война России с Турцией**, и Потемкин, сыгравший важную роль в этой войне и закреплении ее результатов (в частности, был инициатором создания Черноморского флота и руководил его строительством), получил титул светлейшего князя Таврического.

— **[Разве не войско запорожское] перевело Твою армию чрез Перекоп и помогло Твоим енералам порубать крымцев?** — спрашивают Екатерину запорожцы.

И действительно, запорожцы сыграли решающую роль во взятии Перекопа российской армией под предводительством генерала В. Долгорукого-Крымского.

<sup>33</sup> Полонська-Василенко, Н. Історія України. Т. 2. С. 135.

— **Разве [мы] соглашались в чем-либо с турчином?** — задают запорожцы Екатерине вопрос — в данном контексте — риторический.

Ибо ответ заведомо известен: нет, не соглашались. Во время войны с Турцией 7 тыс. запорожцев во главе с кошевым атаманом П. Калнышевским бились в авангарде корпуса князя Прозоровского под Очаковом, Кинбурном, Хаджибеем. Запорожская флотилия активно действовала против турецкого флота на Дунае. Заслуги запорожцев были отмечены Петербургом: Калнышевский получил золотую медаль с бриллиантами, а тысяча козаков — серебряные медали, причем императрица в своем рескрипте обещала «усугубить милости».

Вот и усугубила:

— **Приказываешь везде строить крепости от нас...**

С 1750-х годов Запорожье было окружено кольцом российских укреплений (Новая Сербия, Украинская линия, Славяносербия); российские гарнизоны стояли в Усть-Самарском, Новобогородицком, Никитинском, Биркутском и Сокольском редутах. В 1770 г. крепость (Александровский форштадт) россияне построили на месте современного города Запорожья.

— **Хочешь поворотить в карabinеры...** — т. е. заставить до сих пор еще никем не поневоленных козаков нести регулярную службу.

Аргументы сильные, просто нечем крыть: такова ли твоя награда за честный союз? Даже сам **Потемкин молчал**: на словах протезируя запорожцам, он на деле играл коварную роль, и сама ликвидация Сечи по сути была совершена, как вспоминали современники этих событий, «по соображениям Григория Александровича»,<sup>34</sup> желавшего быть «единодержавным» наместником Южной Украины. После ликвидации Сечи вся прежде подвластная ей территория (так называемые «Вольности») была поделена между Новороссийской губернией на правом берегу Днепра и Азовской на левом. Обе губернии пребывали под властью Потемкина.

**Бриллианты, которыми были унижены его руки,** — тоже исторический факт. Гоголь точно указал на известную из многих источников страсть Потемкина к бриллиантам, их у него было без счета, и он даже «по-царски» их дарил на приемах и балах. В общем, отъявленный коррупционер — нынешние отдыхают!

<sup>34</sup> «Русский архив», 1867. С. 1027.

Но о подарках. По свидетельству современников, «никто не умел дарить лучше Екатерины Второй (...) она знала сие искусство в превосходной степени. (...) Не знаю, умом ли, или одним выражением ее души сопровождались ее дары; знаю только, что она (...) очаровывала разум и душу».<sup>35</sup>

С тем большим удовольствием сделала царица подарок невесте Вакулы: женщина — женщине. Однако удивилась:

— **Я слышала, что на Сече у вас никогда не женятся.**

Она не просто об этом слышала, но и сильно этим возмущалась, и писала о том самому Вольтеру, и в своем манифесте от **3 августа 1775 г.** «безбрачие» запорожцев называла одной из причин ликвидации Сечи — этого «намерению самого Творца, в размножении рода человеческого от Него благословенном, противоборствующего политического сонмища».

И замечание, что запорожцы **имеют жен, только не живут с ними на Сече**, ничего не могло тут изменить. И в «Тарасе Бульбе» Гоголь потом заметит о Запорожье: **«Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина».**

Вот и Вакула — чем не козак? Всем хорош, и силою, и смелостью — а не в Запорожье. А почему? А потому что обожатель женщин! Правильно таких не брали в козаки. Об Андрие Бульбе в случае его «обожания» сказано: **«И погиб козак!»** В нашем случае всё еще хуже: **и погибла Сечь.**

Вот он каков, карнавальный смех как средство от «ужаса истории». Той «настоящей» истории, которой на самом деле, вопреки традиционно легкомысленному отношению гоголеведов к историзму его «Вечеров», **очень много** и в «**Пропавшей грамоте**», и в «**Ночи перед Рождеством**». И можно ведь было обе эти *якобы* исторические истории описать **не** в квазиисторическом буффонадном стиле. Жанр исторической повести знает гораздо более за уши притянутые «анекдоты», и ничего — сходят за «реализм» и даже «историзм»... Так нет же, вместо этого Гоголь в «Пропавшей грамоте» настаивает на том, что гетманскую грамоту утащил чёрт (и видать чего-то в ней подправил). А в «Ночи перед Рождеством» сваливает всю вину за гибель Сечи на простого кузнеца Вакулу, который вообще не при

<sup>35</sup> Дух Екатерины Великия. СПб., 1914. С. 107.



делах, его просто **дернул** все тот же **чёрт** слетать во всё тот же Санкт-Петербург за черевичками для Оксаны...

Но ведь для Гоголя и всё-то дело в **якобы**, и вот почему.

У писателя-украинца, взявшегося за эти скользкие темы, есть три пути.

**Первый путь** — это **сатирическое осмеяние** бессилия или даже предательства украинской элиты. Но это путь не потомка гетмана — Гоголя, а потомка крепостного — Шевченко. Какая же может быть сатира на предательство со стороны писателя, от предательства же и ведущего свою дворянскую родословную? А именно — от **грамоты**, жалованной его предку польским королем Яном Собеским **за переход на нашу сторону**. Кому ж как не этому писателю знать, что не было у его предков иного пути спасти себя — украинскую элиту — со всеми своими преданиями и своею великой и тайной мечтой — для будущего Украины.

**Второй путь** — радостное прославление слияния в экстазе «Руси Малыя и Великия». Но это путь не остроумного Гоголя «Вечеров», а путь Феофана Прокоповича и безумного Гоголя 2-й редакции «Тараса Бульбы» — путь уже вполне **очевидного предательства**, прощания с великой мечтой, а значит и уничтожения всего того, ради чего и следовало сохранять украинскую элиту. Далее мы увидим, что поздний Гоголь предавал без задней мысли, будучи искренним в своем предательстве, в своем служении новому хозяину Николаю I.

Но пока, в «Вечерах», им был избран **третий путь**, и «это многих славных путь». Это **путь карнавала, буффонады, веселой мениппеи** — словом, пир во время чумы.

Что толку рассуждать, кто виноват в чуме или в неволе? А радоваться тому и другому дано безумцу иль рабу. Ну а как быть нам, не рабам и не безумцам? Выход всё тот же, и это **путь увода сознания в область циклического сакрального времени**. Тут главное найти «дверь», через которую можно было бы улизнуть **от подлинной истории с ее повседневной бессмыслицей и обыденным, профанным ужасом**.

Впрочем, долго искать эту «дверь» не приходится: это, конечно же, **праздничный календарный цикл**, символизирующий, противно всем политическим и церковным установлениям, извечный (и языческими верованиями освященный) **круговорот света и тьмы**

**в судьбах (на)рода.** И, разумеется, такую версию сакральных событий ни в коем случае не должно бы принимать буквально понятое христианство с его точно исторически датированной благой вестью Богоявления в прошлом и, хоть и неведомыми по датам, но определенно неизбежными (и вполне линейными, а не цикличными) событиями Апокалипсиса в будущем. Посему и в «Ночи...» Гоголя **отец Осип** рассудил и поступил вполне логично, когда **запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане.**

Но все эти запреты явно без толку, в том числе и при **наступлении 1775 года** — года гибели Запорожской сечи. Равно как и всех предшествовавших ему и с тех пор следовавших за ним лет от Рождества Христова. И так под протяжно, нестройным пьяным хором, исполняемые **колядки** — наилучшим (как кажется персонажам) образом решаются и их личные, и геополитические проблемы, причем в связке:

— **Чего же хотите вы?** — **заботливо спросила Екатерина.**

Опытный политик, уповающий на праздничное настроение самодур и самодуров, уж конечно попросил бы царицу оставить хоть кусочек Сечи — авось бы и сжалилась по случаю праздника... Но какой же политический опыт у запорожцев? Они и онемели...

Отпетый политический циник попросил бы у самодержавной барыни... да наверно тех же **черевицков для Оксаны** (имя любимой и подарок ей варьируются). По логике: с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Вакула не циник, он просто знает, чего хочет: **черевицков для Оксаны.** И пока запорожцы чешут репу, он и опережает их своею простодушною просьбою. Легко представить, как облегченно вздохнул князь Потемкин-Таврический, а за ним и весь ближний круг императрицы.

Вот так, по этой залихватской версии, и погибла Запорожская Сечь...

Ну, а диканьский батюшка — **отец Осип** — как-то пережил и что колядовали всю ночь, и что Вакула в Питер на чёрте летал... Епитимью наложил на Вакулу, на первый взгляд, очень странную: того чёрта запечатлеть в церковном интерьере.

Но ведь когда тетки деткам в того чёрта пальцами тычут: **он бач, яка кака намальована!** — то страшный чёрт-история превращается

в нестрашную каку. Что и требовалось доказать. Именно этой фразой на идентичном украинском языке и застывшим от ужаса ребенком — заканчивается «Ночь...» Гоголя.

И только что мы с вами видели конец того **опрощения украинской темы**, начало которого следует отнести именно к реальным событиям XVIII столетия и ко всей той легкомысленной картине мира в стиле рококо, что была свойственна этому столетию.

Гоголя часто — и ошибочно — называют зачинателем украинской темы в мировой литературе, но мы только что убедились, что он ее завершитель (зачинатель же ее — Вольтер). А о том, что именно «зачинал» в своих «украинских повестях» Гоголь, мы сможем с уверенностью говорить лишь после более глубокого погружения в проблематику следующего, XIX столетия.



## ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ

### «ЗДЕСЬ ВСЁ ЕВРОПОЙ ДЫШИТ, ВЕЕТ...»

Трудно придумать лучший повод и способ для более глубокого погружения в проблематику российского XIX столетия, чем изучение биографии и творчества **Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837)**.

Это вообще хоть и самый важный, но, если вдуматься, очень странный персонаж русской культуры, почему-то и зачем-то назначенный русской интеллигенцией **«нашим всем»**.

Всё началось с того же Гоголя, который еще при жизни Пушкина заявил, что **Пушкин — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»**. (Ну вот прошли эти двести лет, вы все видели в Интернете и по ТВ, что на Родине Гоголя делают через двести лет русские, которых уже вряд ли можно назвать «человеками», и в этом контексте гоголевская неумемная лесть обернулась зловещей карикатурой.)

Но при чем тут сам Пушкин? Да не при чем.

Аристократ, который в свете говорил исключительно по-французски, любил устриц и дорогое вино — воплощение «народности»? Что вообще может быть смешнее?

Речь о другом: **Пушкин что-то угадал в России**. И это **только теперь** становится ясно, хотя неясно — что именно, это предстоит еще уточнять **нам**, и мы с вами как раз и вступаем сейчас на этот **путь уточнений**. Угадал в России, на которую он смотрел **именно со стороны**, — иначе как мог бы он сказать про **русский бунт, бессмысленный и беспощадный?**

Разумеется, нас Пушкин будет интересовать лишь в аспекте нашего предмета — русско-украинских литературных связей. Однако и в этой плоскости лежат некоторые ключи к этому феномену — к Пушкину. Ведь и в отношениях **Россия — Украина** Пушкин тоже кое-что угадал, кое-что подсказал — хотя подсказку эту в свое время никто не услышал и никто ею не воспользовался.

Итак, начнем...

Как говорится, ничто не предвещало интереса к украинской теме юного аристократа (который, в отличие от Гоголя и многих других наших персонажей, происхождением с Украиной не связан) и поэта, рано о себе заявившего как о главной надежде русской литературы. Но этот юный аристократ и поэт имел несчастье (или счастье?) вызвать гнев старшего внука Екатерины Великой — императора Александра Павловича.

Влиятельным при дворе старшим друзьям Пушкина — писателям Жуковскому и Карамзину — с трудом удалось убедить императора не высылать поэта в Сибирь за его мятежные стихи, особенно после того, как пушкинская **ода «Вольность»** во множестве списков разошлась по столице.

Поколевавшись, царь решил, что достаточным наказанием будет выслать Пушкина подальше на юг, якобы по служебным делам.

Екатеринослав, Мариуполь, Таганрог, Кавказ, Крым — это лето и осень **1820 г.** Сразу после этого место постоянной службы в Кишиневе вплоть до **1823 г.**, но с возможностью изредка выезжать в Одессу, в Киев и к друзьям в имение Каменка Киевской губ. (ныне Черкасской обл.), вошедшее в историю как одно из «гнезд» так наз. «декабристского» движения.

Наконец в **1823 г.** перевод по службе в Одессу в ставку новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова, конфликт с ним и в результате в **1824 г.** изгнание со службы и перевод под надзор монахов и полиции на север, в Псковскую губернию, туда, где родовые гнезда предков поэта — Михайловское и Петровское.

**За 4 года на юге с Пушкиным на самом деле** случилось то, что **другие** писатели, принадлежавшие к модному литературному движению — **романтизму** (о нем мы более подробно поговорим в следующих лекциях) — только себе **воображали**: путешествия, встречи с представителями новых, неведомых культур, **«и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»** (так заканчивается итоговая поэма южного периода **«Цыганы»**, и это то, что **на самом деле** не только понимал, но и чувствовал ее автор).

Подлинность, невыдуманность пушкинского романтизма безошибочно почувствовали читатели. Крымская поэма **«Бахчисарайский фонтан»** принесла поэту невиданную прибыль — невиданную

не только им, но ни одним до него писателем в России. Именно после этого он и решает стать **профессиональным литератором** — и это тоже **впервые** в России.

Итак: вместо покинувшего Петербург в **1820 г.** подающего надежды юноши — в Россию в **1824 г.** вернулся зрелый литературный муж со сложившимися взглядами и чрезвычайно интересной (хоть пушкинистами практически за эти 200 лет не исследованной) **концепцией** жизни, мировой истории, России и, не в последнюю очередь, Украины.

За неимением времени поэтапно изложить всю историю украинско-молдавской эволюции Пушкина, обобщенно расскажу лишь о последнем, итоговом, **одесском этапе**.

Чуть больше года Пушкин прожил в Одессе. Но в перспективе европейской культуры год этот кажется веком. Здесь рождался новый культурный идеал и культурный герой — **юный поэт в юном городе**, который был старше его всего лишь на 5 лет. Это **город мечты** — мечты огромной исторической важности.

Впрочем, сама по себе мечта не нова, ей 100 лет: в сущности, это просветительская мечта Петра I. Казалось бы, эта мечта должна была начать сбываться прямо с основания Санкт-Петербурга в **1703 г.**, блистательно и гордо ввести империю в Европу. Ведь именно Петр заявил себя основоположником империи и первым российским императором. Он стал создавать свою империю, отчасти подражая Австрийской, но большей частью исходя из самостоятельно выработанного идеала.

От моноэтнического, монорелигиозного **царства** истинная **империя** должна отличаться прежде всего **полиэтнизмом** и **веротерпимостью**. Но только два гражданина новорожденной Империи точно были готовы жить в такой Империи — сам **император** и его **арап** (прадед Пушкина, посвятившего ему неоконченный роман «**Арап Петра Великого**»).

Что до остальных представителей российской «элиты», то они благостно поддакивали императору — и медленно и плавно, по мере своих слабеющих сил, переносили в новую столицу всё старомосковское, прежде всего бюрократию и ксенофобию.

В **1823 г.** Пушкин переехал на жительство в Одессу — как оказалось, на кратковременное, а видимо был бы не прочь и от постоянного.

Ровно 10 лет спустя в его творчестве окончательно сформировался миф о том, что, вот, дескать, **«прошло сто лет»** от времени петровских реформ —

...и юный град,  
 Полночных стран краса и диво  
 Из тьмы лесов, из топи блат  
 Вознесся пышно, горделиво.

Это вступление в **петербургскую повесть «Медный всадник»** — даже не романтизм: это ампир, *empire, имперский стиль*.

Не было бы Гоголя и «тех, кто вышел из „Шинели“» — мы б еще поверили в сбывшуюся мечту императора. Впрочем, и сам Гоголь вышел из «второго слоя» ампириного мифа про Медного Всадника, из жития бедного пушкинского Евгения. Бедность, косность, бюрократическое засилье, феодальный застой — такова изнанка имперского мифа.

А всё потому, что **не там** прорубили окно в Европу! На затопляемой пойме, на болотах, на костях несчастных строителей, ценою жизней водружавших имперское величие **Петербурга** на этих болотах, — произрастет ли что доброе в этой **Северной Пальмире**?

Но вот **прошло сто лет** (от основания Петербурга) — и, кажется, без всяких усилий, как Афродита, из пены морской, предстала юная **Одесса — Южная Пальмира, полдневных** стран краса и диво, с ее улицами Греческой, Итальянской и т. п.

А всё потому, что с Екатериной II, мыслившей вполне по-петровски, по-имперски, новая Империя вступила в пределы античной Ойкумены — колыбели европейской цивилизации.

Говорили так: мы возродим античную Одессу, а на месте, где страдал ссыльный Овидий, построим наш Овидиополь...

А на самом деле (и специалистам по античности **уже и тогда, в конце XVIII ст., это было известно!!!**): и античная Одесса — Варна, и подлинное место ссылки Овидия — Костанца всё еще входили в состав другой империи, Османской. Та задолго до Российской вышла на античные рубежи и задолго до нее же (и как назидательный ей же пример) увязла в болоте бюрократии и монорелигиозности.

Но что «на самом деле» — это Ампиру, опять-таки, не столь уж и важно. А важно Аргонавтов море, куда



...по новым им волнам  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе.

Что-что, а записать юный поэт всегда был готов, причем записать со всем прогрессивным человечеством. Это должно было получиться и не получилось в Северной Пальмире, но в Южной выходит легко и свободно, на раз.

Одессе повезло, что Екатерина умерла через два года после основания города. А то б царица легко перенесла сюда столицу из Петербурга, как некогда Петр перенес ее из Москвы.

И пускай статус свободного порта, *porto franco*, формально выводил Одессу за пределы лишь таможенной территории империи, но субъективно она свою экстерриториальность с самого начала и по сей день понимает несколько шире. Даже первый губернатор был француз. Ну где еще, в центре какого еще имперского или постимперского города, стоит памятник губернатору-иностранцу? А этот герцог (*duc*) не просто «стоит», он чем далее, тем активнее участвует собственным памятником во всех делах одесситов — и в их радостях, и в их печалях (см. фото на 4-й стр. обложки).

Но задумана-то Одесса как вечный праздник! А сам этот замысел «одесского мифа» исходит непосредственно от Пушкина, от его поэтической легализации этого карнавального смещения вольных народов и профессий, вплоть до пиратов (корсаров):

Там всё Европой дышит, веет,  
Всё блещет югом и пестреет  
Разнообразием живой.  
Язык Италии златой  
Звучит по улице веселой,  
Где ходит гордый славянин,  
Француз, испанец, армянин,  
И грек, и молдаван тяжелый,  
И сын египетской земли,  
Корсар в отставке, Морали.

Таков образ Одессы, запечатленный в последней главе знаменитого романа в стихах «Евгений Онегин» — романа, который заканчивается знаменательной строкой: **Итак, я жил тогда в Одессе...**

Маргинал с точки зрения графа Воронцова и подобных ему чиновников, для которых Одесса была всего лишь новым губернским городом, Пушкин ясно дал понять, что Одесса такая же «российская губерния», как сам он «российский чиновник». Пушкин гениально вписался в утопический проект «юного града», **правильного окна в Европу**, и вызвал к жизни всю будущую Одессу — карнавала и маргинала всего имперского и постимперского хронотопа.

На «магистрали» имперской жизни и грустный Гоголь юморист — но подлинно свободное юмористическое отношение к реалиям этой жизни и адекватная здравому смыслу их оценка возможны лишь в перспективе одесского анекдота, всей совокупно одесской литературной школы. Ведь Одесса по сути своей всегда была представителем Запада на имперском и постимперском Востоке — **Марией в гареме Гирея**, если прибегнуть к образам «Бахчисарайского фонтана».

\*       \*  
\*       \*

Теперь два слова о **Марии**. Это имя сопровождало Пушкина весь его южный период (по причине его безответной любви к юной Марии Раевской) и осталось символом Украины в его итоговой поэме на украинскую тему — «**Полтаве**» (1828).

И это при том, что герои этой поэмы — реально-исторические; и при том, что крестницу и любовницу уже известного нам гетмана Мазепы (любовницу — в том самом возрасте 15–16 лет, в каком была Мария Раевская, когда Пушкин ее узнал) — на самом деле звали Матреной.

Как вообще Пушкин «вышел» на Матрену Кочубей? Помогли Байрон и Рылеев. В поэме **Байрона «Мазепа» («Mazepa», 1818)** как раз ничего о Матрене нет. У **Кондратия Федоровича Рылеева (1795–1826)** в поэме «**Войнаровский**» (1825) лишь глухое упоминание — но Пушкин прямо взвился, прочитав такие строки:

То трепещи и цепенея,  
Он [Мазепа] часто зрел в глухую ночь  
Жену страдальца Кочубея  
И обольщенную их дочь.

Впоследствии Пушкин писал:

**«Прочитав в первый раз в „Войнаровском“ сии стихи: Жену страдальца Кочубея И обольщенную их дочь, я изумился, как мог поэт [Байрон] пройти мимо столь страшного обстоятельства».**

Впрочем, тут же Пушкин сам ответил на свой вопрос:

**«Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой „Истории Карла XII“».**

О существовании у престарелого гетмана юной любовницы стыдливо умалчивали информаторы Вольтера (а это были, как мы помним, отец и сын Орлики — им ли, создающим героический образ борющейся Украины, копаться в грязном белье главного ее героя-мученика?!). Стало быть, не знал ничего и Байрон. И это незнание автора «Мазепы» Пушкин считал счастливым обстоятельством для себя самого.

Ведь ему был нужен новый, независимый от **положительного** Мазепы Байрона, **образ романтического злодея** Мазепы, дабы противопоставить его образу одержавшего над ним победу **доброто гения** Петра. На этой по пушкинской прихоти сооруженной мифологической палитре недоставало черной краски — и вот теперь она как бы заведомо получена из такой важной химической составляющей этого мужского и старческого образа, как «обольститель несовершеннолетней».

Но исторические источники (в том числе и те, что были доступны Пушкину) свидетельствуют **совершенно обратное**, а именно — активную роль юной Мотри в этом эротическом приключении, перешедшем в роман не только бурный и страстный, но и достаточно продолжительный.

Тут не платоническая история Пушкина с Машенькой Раевской. Тут и влечение плоти, вполне удовлетворенное, и эпистолярный роман, и вынужденное замужество (чуть ли не в духе Татьяны Лариной в романе «Евгений Онегин»), и, *last but not least*, **идейное единомыслие**. Да всё это должно было быть и само собой понятно: как иначе мог вообще произойти этот никому ненужный роман

(ненужный ни родителям девушки, ни, в сущности, самому Мазепе)?

Некоторые легендарные источники намекают на колдовство: в этих легендах гетман выступает как верный последователь запорожских колдунов-«характерников»; отголоски этих легенд можно заметить в «Страшной мести» Гоголя.

Но вот факты. Мазепа с 1702 г. вдовец. В 1704 г. 65-летний гетман сватается к 16-летней крестнице своей Мотре. Но старики Кочубеи сочли сватовство святотатством и ответили отказом. И тут взбунтовалась Мотря, по-настоящему влюбленная в гетмана. Тогда Люба Кочубей (мать) отправляет «мерзавку» в монастырь, а «мерзавка» по дороге убегает к гетману. Но строгий гетман свою крестницу отчитал и отправил к родителям — чем несомненно только усилил ее желание быть с ним телом и душой («о, коварный оболститель!»). Начинается страстная переписка, которая заканчивается ожидаемо: влюбленные соединяются (некоторые источники, впрочем, утверждают, что так и не соединяются и что вообще между ними ничего не было, кроме страстных слов).

Однако вопли и доносы Кочубеев (в том числе доносы на самый верх) скандализировали казачество и привлекли к гетману много внимания (а он-то как раз, в связи с коварными уже не амурными, а политическими планами, собирался уйти в тень). И он придумал выдать Мотрю замуж за своего идейного сторонника, некоего Чуйкевича.

Был ли этот брак фиктивным? Об этом мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Мы знаем только, что Чуйкевич с Мотрей до конца оставались на стороне Мазепы и во время (или после) Полтавской битвы попали в плен к врагу. Сперва, не разобравшись кто перед ним, Петр Чуйкевичей помиловал как родственников покойного Кочубея, но затем, разобравшись, мужа Мотри сослал в Сибирь, а Мотря (внимание!) пошла за ним, и тоже (как Мария Раевская-Волконская) почти на тридцать лет. Вернувшись в родные края после смерти мужа в Сибири, Мотря (именуемая теперь матерью Меланьей) с 1733 г. и до самой смерти в 1736 г. была игуменьей Введенского женского монастыря в Нежине.

Таковы факты — и такова наметившаяся оппозиция.

Для Мотри Кочубей, какой ее знали земляки, Иван Степанович Мазепа в свои 65–70 лет был молод духом и телом, был идеальный

любовник и желанный муж. А для антимазепинского литературного крыла, включая Пушкина и Гоголя, колдун-гетман был старый развратник, опытный соблазнитель; словом, погубитель Мотри-Марии (у Гоголя — Катерины), которая долгое время, как это сказано у Пушкина (да и у Гоголя), «принимала его за другого».

Пушкинская Мария Кочубей, будучи «девицей скромной и разумной», как дошла до жизни такой? Да так же точно, как **Дездемона**. То, что они оба с **Отелло** говорят на совете у дожа, очень близко к тому, как Пушкин объясняет любовь **Марии** к **Мазепе**. Сравните, например:

She loved me for the dangers I had passed,  
And I loved her that she did pity them.

Русской поговоркой стали эти строки в переводе П. И. Вейнберга (1880):

Она меня за муки полюбила,  
А я ее — за состраданье к ним.

Этот вариант перевода вытеснил из сознания русскоязычного читателя многие прекрасные варианты, ср. у Б. Л. Пастернака:

Я ей своим бесстрашьем полюбился,  
Она же мне — сочувствием своим.

Но всего этого набора русских подсказок Пушкин не имел, он пользовался прозаическим французским переводом трагедий Шекспира. Исследуя психологию украинской Дездемоны, поэт оказался ближе переводчиков «Отелло» к английскому первоисточнику, ибо **the dangers I had passed** — это, конечно, не *муки* и не *бесстрашие*, а это целый эпос героической жизни человека, который (прямо как в гимне-мечте коммунистов) *был ничем, а стал всем*.

Но только Отелло всё это лично и неспешно, в течение многих вечеров, рассказывал Дездемоне — а до Марии (Мотри) эпос жизни Мазепы доносили **песни**, им сложенные и популярные в его эпоху. И кстати: раскладывая по полочкам в эпилоге «Полтавы» всё то, что **осталось от сильных, гордых сих мужей**, Пушкин (кажется,

впервые в своем творчестве) говорит о том, что **от поэта** (в данном случае — **Мазепы**) остаются главным образом его песни (так сказать, **душа в бессмертной лире и прах переживет, и тленья убежит**).

Но прежде чем оставить вмятину во вселенной, эти песни оставили неизгладимый след в сердце чувствительной девушки — **she did pity them**:

Тогда лишь только стало явно,  
 Зачем бежала своенравно  
 Она семейственных оков,  
 Томила тайно, воздыхала  
 И на приветы женихов  
 Молчаньем гордым отвечала;  
 Зачем так тихо за столом  
 Она лишь гетману внимала,  
 Когда беседа ликовала  
 И чаша пенилась вином;  
 Зачем она всегда певала  
 Те песни, кои он слагал,  
 Когда он беден был и мал,  
 Когда молва его не знала;  
 Зачем с неженскою душой  
 Она любила конный строй,  
 И бранный звон литавр, и клики  
 Пред бунчуком и булавой  
 Малороссийского владыки...

Такой славный, такой победительный образ украинского вождя! И вдруг: **я принимала за другого тебя, старик**. Перемена резкая и крутая!

Легко возразить, что Отелло всё же **не казнил** Брабанцио, а вот Мазепа **стал**-таки виновником пыток и казни Кочубея. Легко лепить «злодея» — легко, но как-то не в шекспировской и не в пушкинской традиции.

Уж слишком резко образ Злого Старца, Страшного Колдуна сменяет образ украинского Отелло, которого так искренне и страстно полюбила украинская Дездемона. И уж слишком навязчивы эти

постоянные декларации старости, погубившей молодость, — Злодея, погубившего Марию...

Так где же ключ к разгадке?

Здесь позволю себе сослаться на личные впечатления — разумеется, не о пушкинской, а о моей эпохе.

В «ельцинскую» эпоху в России, в **1990-е** годы, в кругу тогдашних российских, украинских и белорусских интеллектуалов весело обсуждалась **теория этносов Л. Н. Гумилева**. По ней выходило, что отмеренные каждому этносу **12 столетий** вот-вот закончатся для **«этноса Рюриковичей»**. И вот эту честь — быть всемирной историей с почестями похороненным — каждый «братский народ» радостно уступал другому, отнюдь не желая слиться с ним в экстазе.

Прекрасно помню эти разговоры, ибо сам не раз в них участвовал. А ребята, близкие к «команде Гайдара», всерьез утверждали, что надпись на ленточке венка, который Ельцин как президент РФ во время своего первого официального визита в Киев возложил к памятнику Ярославу Мудрому у Золотых ворот, даже содержала подобные «гумилевские» намеки: мол, берите себе славу (читай — предсмертную) Киевской Руси, а нам оставьте право называться **«Россией молодой»** (недаром это **пушкинское** словосочетание было в то время сильно в ходу).

Эх, найти бы ту ленточку!..

Таким образом **миф «России молодой»** и **миф «России неделимой»** (т. е. не только Великия, но также Малыя и Белыя Руси) становились не просто **разными**, но **полярно противоположными** — именно **мифами**, для каждого из которых, взятого по отдельности, **исторические факты значения не имеют**. Кроме **фактов истории литературы**, т. е. **истории самой мифологии**. К ним и обратимся.

Если верить Пушкину, молодое поколение украинцев начала XVIII столетия думало те же невеселые думы, что и мое поколение незрелых юношей 70–80-х годов XX столетия. Это думы о геронтократии (Брежнев, Щербицкий и т. п.), губящей страну:

Что ж гетман? юноши твердили, —  
Он изнемог; он слишком стар;  
Труды и годы угасили  
В нем прежний, деятельный жар.  
Зачем дрожащую рукою

Еще он носит булаву?

И т. д.

Забавно, что среди **альтернатив Мазепе** эти украинские юноши у Пушкина в одной из следующих строк называют **Семена Палея (1640–1710)**, сосланного царем Петром в Сибирь... И вот, узнав о предательстве Мазепы, Петр вызывает из ссылки «врага его» (т. е. Мазепы), Палея, — и вот этот самый Палей наблюдает за Полтавской битвой из ставки Петра: не то как залог верности царю большинства украинского казачества, не пошедшего за Мазепой, не то как заложник на случай, если это большинство всё же передумает... И вот каков этот герой:

Но близ московского царя  
 Кто воин сей под сединами?  
 Двумя поддержан казаками,  
 Сердечной ревностью горя,  
 Он оком опытным героя  
 Взирает на волнение боя.  
 Уж на коня не вскочит он,  
 Одрях, в изгнание сиротея,  
 И казаки на клич Палея  
 Не налетят со всех сторон!  
 Но что ж его сверкнули очи,  
 И гневом, будто мглою ночи,  
 Покрылось старое чело?  
 Что возмутить его могло?  
 Иль он, сквозь бранный дым, увидел  
 Врага Мазепу, и в сей миг  
 Свои лета возненавидел  
 Обезоруженный старик?

Это не Украина, это даже не Малороссия — это какая-то богадельня, дом престарелых, это просто какой-то геронтологический апокалипсис. С какой стороны поля Полтавской битвы ни глянь — обе украинские «партии» возглавляют полуживые старцы.

И это в то самое время,



... когда Россия молодая,  
В бореньях силы напрягая,  
Мужала с гением Петра.

Естественно, тоже молодого — **37-летнего**. Еще моложе король шведов, **27-летний Карл**.

А если вспомнить, что верные Петру I отряды казаков *на самом деле* возглавлял новый, назначенный вместо Мазепы, **63-летний гетман Иван Скоропадский (1646–1722)**, то картина геронтократии в Украине будет полной и отчетливой, особенно в сравнении и в противопоставлении молодости всей остальной Европы.

И вот финал «Полтавы», где, как говорится, всем сестрам роздано по серьгам. **Прошло сто лет**, послужившие проверкой исторического значения деятельности героев поэмы и позволяющие «государственно мыслящему» поэту сделать соответствующие выводы. Как не раз по разным поводам отмечали пушкинисты (А. Н. Соколов, Л. Г. Фризман и др.), автор «Полтавы», даже в чисто жанровом отношении, в этом смысле развивает подход, который наметился уже в поэмах **«декабристов»**, судивших об историческом деятеле в свете своего идеала «прямого гражданина» (слова Мазепы о Войнаровском — в вышеупомянутой поэме **К. Ф. Рылеева «Войнаровский»**) и таким образом пытавшихся придать своей личной оценке героя объективное, общественное, «гражданственное» звучание.

Но если **гражданин** — это «государственно мыслящий» человек, то идеал **прямого гражданина**, вложенный Рылеевым в уста не кого-нибудь, а Мазепы, должен, кроме всего прочего, сказать читателю, что есть другое, нероссийское, неимперское государство, граждане которого, под руководством того же Мазепы, вступили в самоотверженную борьбу с агрессором-империей. Именно таковой была позиция Рылеева, которого в **1826 г.** новый царь Николай I казнил (повесил) в числе пяти «зачинщиков бунта».

Рылеев, по понятной причине, не упомянут в «Полтаве», но присутствует на одном из рисунков на полях ее черновика — силуэтом одного из пяти повешенных. Так трагически заканчивается спор, начало которого так четко прояснило непримиримо противоположные **эстетические** позиции двух поэтов. Теперь оказывается, что, как это часто и во все времена случается, за

непримиримостью **эстетических** позиций стояла непримиримость позиций **политических**.

Рылеев — диссидент, революционер, и вряд ли кого-то может успокоить позднейшее утешение Владимира Маяковского, что, мол, «битвы революций посерьезнее Полтавы» — Пушкин-то в «Полтаве» отнюдь не на стороне «революций». А именно с «революцией», с внутренним бунтом, **российские** государственники, и сам Пушкин в том числе, всегда отождествляли борьбу украинцев **за собственную государственность**.

К тому же в противоположность любимому Пушкиным Вальтеру Скотту, который, как правило, уверенно ведет своих любимых героев к счастливому финалу, сам Пушкин, по крайней мере в «Полтаве», далек от веры в возможность счастливой развязки индивидуальных судеб на фоне исторической катастрофы.

Впрочем, вскоре сам он, Пушкин, и в этом отношении сблизится с великим шотландцем: это видно из сопоставления двух очаровательных, юных и ни в чем неповинных жертв истории — двух Марий: **Марии Кочубей в «Полтаве»** и **Марии Мироновой в «Капитанской дочке»** (притом что отцы обеих героинь гибнут, и **оба** из-за своего непримиримого отношения к узурпатору).

Если рассматривать «Полтаву» как поэму **романтическую** (каковой она по сути и является), то легко заметить, что романтической аурой в поэме «Полтава» окружена — и ею же защищена от гибели — вовсе не Империя, а Украина. Чего стоит один лишь знаменитый и бессмертный пейзаж **«Тиха украинская ночь...»!** Как заметил пушкинист Ю. М. Лотман, само уже посвящение поэмы неназванной возлюбленной (и скорей всего опять-таки Марии — в девичестве Раевской, а на момент издания поэмы — Волконской, добровольно отправившейся за мужем в Сибирь, подобно исторической Мотре Кочубей) — призвано заострить читательское внимание именно на лирической, субъективной составляющей поэмы.

И в этой связи стоит напомнить, что когда Пушкин гостил в Каменке в **1820–1821 гг.** — Раевские тоже были там. И что затем он почти наверняка общался с ними в Киеве или даже был их гостем. Вот именно там и тогда зародился замысел «Полтавы». Мария Раевская, Каменка, Киев, романтический образ Украины, сложившийся в это время в поэтическом сознании Пушки-

на,<sup>36</sup> — всё это сформировало ядро лирического смысла и замысла поэмы, анонсированного в посвящении к ней и долженствующего как бы примирить читателя с трагизмом судеб персонажей, попавших под колесо истории.

---

<sup>36</sup> Подробнее см. наш комментарий к «Полтаве» в кн.: Пушкин, А. «Здесь всё Европой дышит, веет...». Стихотворения и поэмы, написанные в Украине и Молдове (1820–1824) в оригиналах и переводах на английский язык / Сост. Дж. Д. Клэйтон, В. Я. Звиняцковский. Киев, 2021. С. 244–247, 331–350.



## ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ

### «САМ НЕ ЗНАЮ, КАКАЯ У МЕНЯ ДУША...»

В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. <...>  
Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило.  
Николай Гоголь, *Записки сумасшедшего*

В прошлый раз мы остановились на том, как Пушкин спешно пытался доспорить по украинской теме с уже казненным Рылеевым, в «Полтаве» ни разу не упомянутом.

Вообще же тема казненных в **Эпilogе** «Полтавы» присутствует — он с нее и начинается:

Цветет в **Диканьке** древний ряд  
Дубов, друзьями насажденных;  
Они о праотцах казненных  
Доныне внукам говорят.

На **Диканьку** мы в прошлый раз уже обратили внимание, поняли, что это «не просто село», любое на выбор Гоголя, и даже вспомнили триумфальную арку в честь **визита Александра I к Виктору Павловичу Кочубею** — визита, о котором Пушкин несомненно знал.

И вот так в Эпilogе «Полтавы» завершается тема Искры и Кочубея.

Петр I сам себя морально казнил за то, что поспешил казнить их самих, а их семьи сослать в Сибирь. Верные царевы слуги, эти двое (по тем ли мотивам, каковые приписывал Кочубею Пушкин, или по каким-либо иным) поддержали российскую государственность в ущерб могшей народиться украинской. И после того как донос **двух страдальцев** о «предательстве» Мазепы полностью подтвердился, Петр семьи вернул и своей щедрой царской лаской обласкал, а бранный прах **страдальцев** с почестями перезахоронил перед трапезной Киево-Печерской лавры. Дабы ее ученые монахи и многочисленные паломники столько раз в день, сколько раз принимают пищу, думали о том, как и когда правильно писать доносы: не слишком поздно, но и не слишком рано.

Но сохранилась могила,  
 Где **двух страдальцев** прах почил:  
 Меж древних праведных могил  
 Их мирно церковь приютила.

Еще бы она не приютила — ведь церковь, которую император лишил патриарха, стала придатком государства, управляемого с помощью императором же назначаемого Синода, где верховодили Яворский с Прокоповичем — такие же, в сущности, коллаборанты, как Искра и Кочубей.

Что же касается обласканного **семейства** Кочубеев, то оно в полной мере воспользовалось столь трагически-нежданным приближением к трону.

«Прошло сто лет», т. е. **ровно сто лет с года смерти Петра I (1725)**. И — тоже трагически, с **гибели «декабристов» (1825)** — началось правление императора **Николая I**. Того самого двухметрового гиганта, у которого маленький ростом Пушкин сразу же увидал «семейное сходство» с Петром; которому он простил казни друзей-«декабристов»; которого с первых дней его правления призвал: «**Во всём** будь пращуру подобен». Т. е. в том числе и в приближении к трону потомков тех самых людей, которые были верными и преданными слугами Петра I, напр. потомка Абрама Петровича Ганнибала (т. е. самого Пушкина) и — Василия Леонтьевича Кочубея.

И вот **Виктор Павлович Кочубей**, граф, **правнук** несправедно казненного Василия Леонтьевича — **верного слуги Петра I**, становится **при Николае I** председателем Государственного совета и Комитета министров, государственным канцлером и т. д. и т. п. А в **1831 г.** Кочубей получил титул князя.

А теперь вспомним замечание **первого биографа** Гоголя **Пантелеймона Александровича Кулиша (1819–1897)** о том, что Диканька появилась на обложке и в самом тексте «**Вечеров на хуторе близ Диканьки**» (1831) Гоголя **внезапно и по случаю**.

Истинное место рассказывания повестей, по Кулишу, есть имение отца Гоголя, Васильевка: она-то и есть «хутор» (однако не так уж и «близ» Диканьки), «тут-то бывали настоящие «Вечера на Хуторе», которые Гоголь поместил **по особенному обстоятельству** возле Диканьки».

Под **особенным обстоятельством** Кулиш, скорее всего, имел в виду... самого Кочубея. Уже на следующей странице он косвенно дает это понять:

«К маю 1831 г. (...) уже готово было несколько повестей, составляющих первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Не зная, как распорядиться с этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Г. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю на первый раз строжайшее инкогнито и придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в публике любопытство. Так появились на свет «Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком», который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею».<sup>37</sup>

Особенно здесь важно слово **князю**. Дело в том, что когда в **1831 г.** Кочубей получал титул князя, не было в петербургском свете ни более модной, ни более «благонамеренной» темы, нежели богатство новоиспеченного князя (тут пришлись кстати и пушкинские слова о его предке: **«Богат и славен Кочубей»**), его бюрократические нововведения в Диканьке, «истинно княжеская» приверженность родовому гнезду, триумфальная арка, воздвигнутая у въезда в Диканьку в честь приезда Александра I, и т. д., и т. п. Зная всё это, мы сможем по достоинству оценить совет Плетнева, которым он надеялся **«оградить юношу от влияния литературных партий»**.

Надежда его сбылась, она не могла не сбыться именно потому, что лучшее средство избежать «влияния литературных партий» во все времена состояло в том, чтобы встать хотя на время под знамена партии политической — и лучше той, что у власти. Диканька, о которой «наслышаны» в Петербурге, — это **не смешно**, а даже очень (для судьбы Гоголя и его книги) серьезно. По пронизательному замечанию А. П. Чехова, «Гоголь никогда ничего не выдумывал». Невыдуманная Диканька князя Кочубея — это именно то, над чем автор «Вечеров» смеяться решительно не собирался, да и никому бы не позволил... А не умер бы Кочубей три года спустя —

<sup>37</sup> Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя // Отечественные записки. 1852. № 4. С. 200–201.

и как знать, не стал бы он тем положительным героем, которого столь безуспешно искал Гоголь для своего последующего творчества.

Впрочем, Пушкин, с его идеалом «**России молодой**» как государства, с его идеалом великого и вечно молодого «**пращура**» и «**птенцов гнезда Петрова**» как высшего военного и статского руководства — должен был не иначе как горькую пародию на идеологию своих «**Стансов**» и «**Полтавы**» воспринимать правление уже очень немолодого **В. П. Кочубея (1868–1834)**:

«Казалось, смерть такого ничтожного человека, — читаем мы о Кочубее в дневнике Пушкина, — не должна была сделать никакого поворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить».

Далее по-французски приводится суждение, видимо, уважаемого Пушкиным светского собеседника: Кочубей обладал умом «в высшей степени примирительным» (*eminement conciliant*), «никто не умел так, как он, разрешить сложный вопрос» (*a trancher une question difficile*), «заставить спорщиков хотя бы услышать друг друга» (*a amener les opinions a s'entendre*). «Дело в том, — заключает Пушкин, — что он (*Кочубей — В. З.*) был человек хорошо воспитанный, — это у нас редко, и за то спасибо».

Вполне идеал «губернатора» из гоголевских поздних «**Выбранных мест из переписки с друзьями**» — но отнюдь не «России молодой», которой вот так-то вот отместила «наша древняя Украина»: начиная со времен дяди В. П. Кочубея — Безбородко (тоже канцлера и тоже князя), она окружала ее сонмом сонных, престарелых, застойных правителей.

Но само то, что «малороссийская» (украинская) партия еще со времен Феофана Прокоповича фактически определяла официальный курс Российской Империи, давало Николаю Гоголю право надеяться на осуществление своей собственной **МИССИИ**. А у Гоголя **была МИССИЯ**, которую он сам себе придумал.

Всё дело в том, что он **знал нечто о своем далеком предке**. Но никому — даже собственной матери — этого знания (передававшегося в семье по мужской линии) не открывал. Хотя следы этого знания в его творчестве найти можно, однако следы эти довольно фантастичны и на первый взгляд (как впрочем и всё у Гоголя) весьма абсурдны.



Возьмем, к примеру, финал самого известного, хрестоматийного произведения (его если даже и не читал, то по крайней мере может назвать любой старшеклассник в России и в Украине). Это «**Тарас Бульба**»:

**Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубоководных мест, блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на побережьях. Казаки быстро плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всплашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.**

### Конец

А теперь обратимся к одному из исторических источников, которыми пользовался Гоголь при работе над этой повестью, — к украинской «Летописи Самовидца», где под 1674 годом сообщается следующее:

**«На Раде в Переяславе было подтверждено гетманство Ивана Самойловича обеими сторонами Днепра вплоть до самого Днестра, только над Днестром Гоголь, не желая потерять полковничество, оставался с Дорошенко, и через него отправлялись посольства к туркам».**

Тут уж поневоле вспоминается *«гордый гоголь на Днестре»* в финале «Тараса Бульбы». Читатель думает, что это птица, а на поверку это выходит **не вполне** птица — или **не только** птица...

Кто же этот *гордый Гоголь на Днестре* — Гоголь с большой буквы?

Еще в конце XIX в. историк Александр Лазаревский нашел в архиве Киевского дворянского собрания следующую **грамоту польского короля** того же самого периода, о котором идет речь в приведенном отрывке летописи:

**«За преданность нам и Речи Посполитой шляхетного Гоголя, нашего могилевского полковника, каковую он проявил в нынешнее время, перейдя на нашу сторону, присягнув нам в послушании и передав Речи Посполитой могилевскую крепость; поощряя его к дальнейшим услугам, жалуем ему наше село, называемое Ольховец, как ему самому, так и нынешней жене его; по смерти**

*же их сын шляхетный Прокофий Балачко Гоголь также будет пользоваться пожизненным правом».*<sup>38</sup>

Вот этот самый полковник **Евстафий (Остап) Гоголь (?–1679)** через несколько месяцев после получения им данной грамоты становится **гетманом** всей Правобережной Украины.

А теперь вспомним бойкого рудого (рыжего) Панька Яновского — служащего гетманской канцелярии. И вспомним указ Екатерины о том, что гетманство упраздняется, но все «знатные» казаки, по предъявлению подтверждающих документов, автоматически становятся российскими дворянами.

Есть ли какие-то сведения о том, что Афанасий Гоголь или его сын Василий при своем рождении имели двойную фамилию Яновские-Гоголи? Таких сведений нет!

Хотел ли Афанасий Яновский, поповский сын, стать дворянином? Да, безусловно.

Имел ли он доступ к архивным документам гетманской канцелярии? Да, самый прямой.

Под тяжестью таких аргументов **МИССИЯ** Николая Васильевича Гоголя — «**потомка гетмана**», кажется, уже трещит по всем швам.

Но к счастью сохранился портрет гетмана Евстафия Гоголя. И если сравнить его с хорошо известными портретами Николая Гоголя, то семейное сходство будет, как говорится, налицо, особенно «нос уточкой», за который эта семья и получила утиную фамилию...

Да, Гоголь всегда позиционировал себя **русским** писателем. Но уже в XIX в. его биографы «всё поняли» о нем. Так, В. И. Шенрок, внимательно изучавший **украинские корни, вообще «украинскую душу» Гоголя**, не только очень точно, но и — для своего времени — очень смело замечал: «Гоголь никогда не переставал быть истинным и верным сыном Украины, что не могло, конечно, не отражаться и на всем (его) нравственном складе. (...) Не только по своему происхождению, но и по складу характера, и по наружному виду он был настоящий малоросс; всеми глубочайшими и заветными струнами души он был связан с своей поэтической родиной».

Однако тут же этот биограф делал следующую оговорку: «Личность Гоголя представляет в нашей литературе чрезвычайно любо-

<sup>38</sup> Лазаревский Ал. Сведения о предках Н. В. Гоголя. Киев, 1901. С. 7.

пытный и поучительный пример слияния малороссийских симпатий с общерусскими и подчинения первых последним».<sup>39</sup>

Интересно, что Кулиш незамедлительно откликнулся на эти мысли Шенрока. В письме к нему от 16 января 1887 г. он писал: «Поэт не может стоять выше своего века и своего общества. (...) Он всё-таки уплачивает дань традиционным предрассудкам, и часто сообщает им тем большую стойкость в их борьбе с очистительной работою критики, что они находят себе опору в авторитете таланта. Так было и с Гоголем. При всей своей универсальности в сфере русского воззрения, Гоголь был прежде всего наследник симпатий и антипатий малорусских, а это было наследство весьма древнее. (...) Ключ национального разумения находился (...) в руках, которые никогда не загибают жару сами; а между тем богатейший дарами природы край то и дело пылал пожарами (...) и обливался кровью таких людей, которые меньше всего знают, что творят».<sup>40</sup>

Итак, в ответ на тезис Шенрока, который, не сомневаясь в *малорусских симпатиях* автора «Тараса Бульбы», всё же заявлял о *подчинении их великорусским*, Кулиш уверенно утверждал обратное.

Казалось бы, правота в данном вопросе именно Шенрока может быть оспорена с большим трудом. Широкий читатель, которому «**Тарас Бульба**» известен в его окончательной, т. е. 2-й авторской редакции, раскроет книжку на последней странице и скажет: «Да вот же он, русский царь, ради которого бился Тарас Бульба и скорым пришествием которого он страшит клятых ляхов! Где же здесь остается место для самоутверждения украинской элиты, из которой вышел Гоголь и духовную связь с которой он якобы хранил?»

Повторюсь: он хранил ее **в глубочайшей тайне**, хотя отблески этой тайны иногда вспыхивают даже на поверхности текста. О «**гордом гоголе на Днестре**» я уже сказал. Не хватает малости — заглавной буквы, чтобы на месте птицы оказался своенравный и упорный могилев-подольский полковник **Остап** Гоголь. Тот самый, которого его праправнук Афанасий Гоголь-Яновский в своем прошении о предоставлении дворянства называл **Андреем** Гоголем! Вот уже и пара **братьев-антагонистов** из знаменитой повести, написанной внуком этого праправнука!

<sup>39</sup> Шенрок, В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 3, 4.

<sup>40</sup> Цит. по кн.: Крутикова, Н. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 278.

Кстати, на том основании, что Афанасий Демьянович «перепутал» имена, Ал. Лазаревский обвинял его в равнодушии к знаменитому предку: «...праправнук уже *не знал* имени своего прапрадеда, хотя это был человек видный, о котором можно было бы справиться и в книгах». <sup>41</sup>

«Но можно предположить и другое, — возражал Лазаревскому Ю. В. Манн: — именно потому, что Евстафий Гоголь был человек достаточно известный, Афанасий Демьянович предпочел не докапываться до истины...» <sup>42</sup>

И это совершенно справедливо. Для россиян XVIII века Евстафий — прямой предшественник «предателя» Мазепы. За такого предка Афанасия Демьяновича по головке бы не погладили, потому он и не раскрывает всего послужного списка **гетмана** Евстафия Гоголя, останавливаясь на **полковнике**, да еще и меняя имя.

Дальше — больше.

**Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)**, в чьем знании «правильных» имен у нас теперь уже очень мало оснований сомневаться, меняет имя «полковника» в очередной раз, а гоголеведы вновь идут у него на поводу. Найдя в письме Гоголя к матери **1849 г.** упоминание о некоем «полковнике Яне Гоголе» (разумеется, никогда не существовавшем), Юрий Манн объяснял такую нелепость «незнанием, но никак уж не хитростью или затаенной целью», полагая, что «хитрить в частном письме к матери не было никакой необходимости». <sup>43</sup>

Мне же представляется, что такая необходимость **была**. Писателя и без того уж в петербургских салонах обвиняли, что его **«вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе»**. <sup>44</sup> Незадолго до этого Осип Бодянский впервые издал «Летопись Самовидца». <sup>45</sup> Вся украинская элита кинулась читать эту и другие изданные к тому времени летописи, в которых Евстафий Гоголь занимает отнюдь не последнее место.

<sup>41</sup> Лазаревский, Ал. Цит. соч. С. 8.

<sup>42</sup> Манн, Ю. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. М., 2004. С. 12.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Из письма А. О. Смирновой к Н. В. Гоголю от 3 ноября 1844 г. // Переписка Н. В. Гоголя в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 123.

<sup>45</sup> Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. М., 1846.

В этих условиях — видимо, поддавшись общему настроению полтавчан — и Мария Ивановна Гоголь начала хлопотать о родословной. Не опасно ли было дать в руки столь амбициозной даме такую карту, как предка-гетмана, назначенного королем Яном Собеским?.. Сын предпочитает умерить пыл матери: «Если не докажется происхождение от полковника Яна Гоголя (*уж не с именем ли польского короля связана — на подсознании — оговорка? — В. З.*), то род будет записан в 8 книгу. Шестая книга, конечно, почетнее, но права почти те же».

И уж конечно слишком неправдоподобно было бы предполагать простое совпадение имен **Остап** и **Андрій** в «**Тарасе Бульбе**» с другой парой **Остап/Андрій**: с именем знаменитого предка и, так сказать, эвфемизмом — придумкой Афанасия Демьяновича.

На самом деле Гоголь хорошо знал, что **не было никакого Андрия**, что это сам **героический Остап Гоголь** неоднократно был вынуждаем становиться **предательским «Андрием»** и что в этом, собственно, и состоит трагическая суть истории украинской элиты, вечно вынуждаемой из двух (а то и из трех) зол выбирать меньшее.

Отвечая на обвинение, что его «**вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе»**», Гоголь писал обвинителям:

**«...сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что ⟨...⟩ обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую, ⟨...⟩ чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».**

Вот это и есть его **МИССИЯ**, и это миссия не того, кого он считал своим **физическим** предком — гетмана Ефстафия Гоголя, пытавшегося «перетянуть» Украину на Запад, — а миссия современников этого гетмана, тех, кого Николай Васильевич считал своими **духовными** предками — православных, барочных писателей киево-могилянской школы. В моей 2-й лекции я пытался вам показать, что именно они и совершили, и оправдали выбор пути Украины не на Запад, а на Восток, «под руку православного царя». Теперь, после целого века литературного отрицания верности этого пути — от Вольтера до Рылеева, Гоголь пытается совершить диалектический рывок и «на высшей стадии» вернуться к «правильному» выбору XVII в.

Соответствовал ли этот **субъективный** выбор тем **объективным процессам**, что шли в культуре, в частности и в самой литературе, эпохи Николая Гоголя?

На этот важный вопрос мы попытаемся ответить в следующей лекции.

## ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ

### ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА (РАЗВИТИЕ ИДЕИ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В РУССКОЙ)

#### 1. «ЭНЕИДЫ» ОСИПОВА И КОТЛЯРЕВСКОГО

Итак, Гоголь в конце своего сложного и весьма непоследовательного пути в поисках «верного» решения «украинской темы» пришел к тому, что, «слившись воедино», русские и украинцы должны «составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». И в том, чтобы способствовать «слиянию», он увидел свою миссию.

Миссию тем более чудесную, что особого желанья «сливаться» с русским «народом» украинский «народ» отнюдь не обнаруживал. Напротив, **украинская нация** не только не сбилась с того курса, который, как мы видели, она взяла еще в **1620 г.**, но обрела свой собственный голос — **украинскую литературу**, свой собственный **литературный язык**.

А началось, как ни странно, с **древнеримского поэта Вергилия** и его классической эпопеи «**Энеида**».

Вспомним, что такое эпопея.

**Эпопея** (ἔποποια, из ἔπος «слово, повествование» + ποιέω «творю») — один из древнейших жанров мировой литературы. Это **обширное повествование о выдающихся событиях в истории определенного этноса**.

В «нормальном» случае речь идет о древнейших этносах, у которых эпопеи возникали стихийно, складывались постепенно (сначала в устном виде), записывались не в пору своего возникновения, а гораздо позже. Таковы индийская «**Махабхарата**», первые книги Библии «**Бытие**» и «**Исход**», а также приписываемые легендарному певцу Гомеру «**Илиада**» и «**Одиссея**». Так же стихийно, постепенно, как складывались эти эпопеи, складывались и породившие их этносы.

Но уже ближе к началу нашей эры люди научились **искусственно создавать и империи, и эпопеи**. И даже — в обратном порядке:

**посредством создания эпопеи — создавать идеологию, на которой держалась или удерживалась империя.**

И первым таким примером как раз и была «Энеида» Вергилия — эпопея, написанная по прямому **заказу Октавиана** на заданный им сюжет и как «естественное» продолжение «Илиады» Гомера. Поэт должен был путем всевозможных не только поэтических, но и политических манипуляций доказать, что род Юлиев — не просто «основатели Рима», но, через «своего прародителя» **Энея**, потомки побежденных троянцев (ныне «отомстившие» потомкам победивших их ахейцев), а также прямые потомки богов Олимпа (ведь мать Энея — богиня Афродита).

Вот почему прямое, серьезное **подражание** самой «Энеиде» (как **она подражала «Илиаде»**) в европейской традиции теоретически могло означать попытку **идеологически создать** или удержать какую-то новую империю. А **пародия** на нее — попытку эту империю высмеять, **идеологически разрушить**. Однако на практике далеко не всё и не всегда выходило так просто.

В русской литературе пародию на «Энеиду» Вергилия создал **Николай Петрович Осипов (1751–1799)**. Он был автором множества компилятивных книг и переводов, а также государственным служащим, и служил не более и не менее, как в Тайной Канцелярии. Сегодня искусственным созданием и распространением идеологий занимаются спецслужбы. Так может быть не случайно именно «в недрах Тайной Канцелярии», т. е. исторической предшественницы КГБ и ФСБ, родилась российская «Энеида»? Но в таком случае почему она — пародия?

Тут, однако, перед нами как раз тот случай, когда конспирология тает в свете фактов, как снег при свете солнечных лучей. Дело в том, что к 16 декабря 1796 г., когда Николай Петрович Осипов был пожалован в коллежские асессоры и определен в Секретную почтовую экспедицию и в Тайную канцелярию **переводчиком**, его «**8 песней Энеиды, вывороченной наизнанку, шутивным слогом**» (1791) уже пять лет как были изданы. Так что заманчивая версия «Российской Энеиды, вышедшей из Тайной канцелярии», к большому нашему сожалению, рассыпалась в прах.

Что же тогда такое «Энеида» Осипова? Для ответа на этот вопрос обратимся к ее западным предшественницам.



Традиция «переодевания» (травестирования) «Энеиды» Вергилия была заложена в XVII в. **Полем Скарроном (1610–1660, «*Le Virgile travesty en vers burlesques*», 1648–1653)**. Следуя этой традиции, современный автор должен так же тщательно «переодеть» троянца Энея, карфагенянку Дидону и всех других античных персонажей **в свои национальные костюмы**, как Вергилий передел их в римлян. Но сделать это без единой капли Вергилиевой серьезности. К XVII в. историзм мышления в Европе всё же несколько продвинулся, и светские развратницы при дворе Людовика XIV «немножко» смешны в образе Дидоны — в отличие от политизированных римских матрон эпохи Вергилия.

А теперь вспомним об имперских амбициях Людовика XIV. И это в то время, когда в Европе господствовала и всех пугала единственная живая, восходящая, экспансионистская империя — Османская. (От еле живой тогда Московии никто этого еще не ждал — но уже через полвека получил.)

Вся официальная французская литература — даже комическая — была «отправлена» Людовиком XIV на борьбу с Османами. Так, когда турецкий посол, осмотрев новостройки Версаля, сказал: «Конь моего султана живет в лучших условиях», разъяренный Людовик XIV велел придворному комедиографу Мольеру высмеять турок в комедии — и так явился на свет «Мещанин во дворянстве» (*Le Bourgeois gentilhomme*), где в длинной интермедии комически представлен «обряд посвящения в турецкое дворянство».

В отличие от своего современника Мольера, Скаррон — независимый человек и писатель, который может высмеять **любое** государство, высмеять **империю как таковую** — что он и сделал в своей «Энеиде». Это была гениальная находка, которую не раз еще потом повторили европейские писатели.

Травестия Скаррона имела многочисленных продолжателей по всей Европе. И вот к концу XVIII в. эта волна, как мы уже видели, докатилась до России: «**Виргилиева Энейда, вывороченная наизнанку**» была написана Николаем Петровичем Осиповым и продолжена после его смерти Александром Михайловичем Котельницким (издавалась в **1791–1808 гг.**).

Уже после выхода первой части работа Осипова получила в целом положительную оценку **Н. М. Карамзина** в рецензии, опубликованной в мае 1792 года в «Московском журнале»:

«Никто из древних поэтов не был так часто травестирован, как бедный Вергилий. Француз Скаррон, англичанин Коттон и немец Блумауер, хотели на счет его забавлять публику, и в самом деле забавляли. Те, которые не находили вкуса в важной Энеиде, читали с великою охотою шуточное переложение сей поэмы и смеялись от всего сердца. Один из наших соотечественников вздумал также позабавиться над стариком Мароном и нарядить его в шутовское платье. При всём моем почтении к величайшему из поэтов Августова времени, я не считаю за грех такие шутки, — и Вергилиева истинная Энеида останется в своей цене, несмотря на всех французских, английских, немецких и русских пересмешников. Только надобно, чтобы шутки были в самом деле забавны; иначе они будут несносны для читателей, имеющих вкус. По справедливости можно сказать, что в нашей вывороченной наизнанку Энеиде есть много хороших и даже в своем роде прекрасных мест».

Такая вот чисто эстетическая оценка чисто эстетического проекта. Никакой политики.

Но вот наконец «Энеида» Осипова становится основой для более поздней «Енеїди» (1798) **Ивана Петровича Котляревского (1769–1838)**, которая является вольным переложением русской «Энеиды», однако тем же самым 4-стопным ямбом, одической 10-стишной строфой (АБАб + ВВгДДг) и даже с сохранением ритмических особенностей, характерных для русского ямба того времени. И это, конечно, верный выбор, ведь эпические возможности 4-стопного ямба поистине неисчерпаемы, читатель быстро к нему привыкает и вскоре уже воспринимает как «естественную» повествовательную речь. Так можно рассказать и старинную эпопею, и современный роман в стихах — как «Евгений Онегин» Пушкина, самый известный пример в этом роде (ср. ритмически: *Еней був парубок моторний... — Евгений, добрый мой приятель...*). В этом смысле «Енеїда» Котляревского звучит и еще долго будет звучать привычно, по крайней мере для того, кто читает не только по-украински, но и по-русски.

Всё это было отлично известно современникам Котляревского, которые при всём при том отмечали, что автор украинской «Энеиды» травестировал Вергилия **с большею удачею, нежели Осипов**. Например, **А. А. Бестужев** в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823) писал: «В шутовском роде (*burlesque*) известны у нас Майков и Осипов. (...) Второй, в «Энеиде» наизнанку,

довольно забавен и оригинален. Ее же на малороссийское наречие с **большею удачею** переложил Котляревский».

### Н. П. Осипов, 1791

Эней был удалой детина  
И самый хватский молодец;  
Герои все пред ним скотина  
Душил их так, как волк овец.  
Но после свального как бою  
Сожгли обманом греки Трою,  
Он, взяв котомку, ну бежать;  
Бродягой принужден скитаться,  
Как нищий, по миру шататься,  
От бабьей злости пропадать.

А ветры между тем подули  
В затылок сильно кораблям  
И паруса все натянули  
Висящие по всем щеглам  
На палубе гребцы рассевшись,  
И будто белены объевшись  
Кричали песни, кто что знал.

### И. П. Котляревский, 1798

Еней був парубок моторний  
І хлопець хоть куди козак,  
Удавсь на всеє зле проворний,  
Завзятіший од всіх бурлак.  
Но греки, як спаливши Трою,  
Зробили з неї скирту гною,  
Він, взявши торбу, тягу дав;  
Забравши деяких троянців,  
Осмалених, як гиря, ланців,  
П'ятами з Трої наживав.

А вітри ззаду все трубили  
В потилицю його човнам,  
Що мчалися зо всеї сили  
По чорним пінявим водам.  
Гребці і весла положили  
Та, сидя, люлечки курили  
І кургикали пісеньок.

Какие выводы можно сделать даже из поверхностного сравнения?

1. К концу XVIII в. русский литературный язык, получивший статус единого государственного языка на всей территории империи, в целом определился в нормативно-стилистическом плане: пласты языка официального, разговорного, а также диалектные вкрапления — всё обрело свои функциональные ниши.
2. В «Энеиде» Котляревского украинский язык представлен полтавским диалектом, который уже начал выполнять некоторые эстетические функции языка художественной литературы — при отсутствии еще официальной нормы.

Автор «**Енеїди**» (а он продолжал ее писать еще целые десятилетия после первого издания — в окончательном виде она вышла посмертно в **1842 г.**) проделал прежде всего колоссальную словарную работу. Всего в поэме зафиксировано ок. 7 000 украинских слов. Более всего представлена этнографическо-бытовая лексика: названия одежды, блюд, предметов интерьера, сельскохозяйственных орудий,

народных игр и т. п. Автор стремится представить всю возможную полноту синонимических рядов. Ср. синонимический ряд **«идти — ходить»**:

- *волочитися, почухрати, попхатися, слонятися, причвалати, побрести, лізти, уплітати, прискочити, влізнути, шлятися, швендювати, мандрувати, приплентатися, чкурнути, покотити, пертися, скитатися, сунутися, пороснути, копирснути.*

Но всё это не главное. Важнее то, что труд Котляревского пришелся на самое начало **европейской весны наций**, на фоне ностальгии части украинской элиты по казацкой державе, только что, как мы помним, ликвидированной Екатериной. Вот почему эту поэму, где римское войско переодето в запорожское, читали не только в Украине, но и в России, и в Беларуси (где в подражание ей вышла белорусская «Энеида» неизвестного автора). По «Энеиде» Котляревского, собственно говоря, и учились украинскому языку те, кто в быту на нем не говорил.

Итак, если «Энеида» Вергилия по сути **создала империю**, то «Энеида» Котляревского, используя силу смеха, **создала новую нацию, которая в конечном счете и разрушила последнюю в мире империю** — Российскую. Не отрицая огромной личной заслуги трудолюбивого и талантливоего Ивана Петровича Котляревского, здесь всё же следует отметить важность появления его труда в нужном месте и в нужное время, как раз наступившее для того, чтобы **пародия эпопеи** сыграла в полной мере свою историческую роль **разрушения империи** и созидания — на обломках падающей империи — новой нации.

Эту огромную роль Котляревского чувствовал всё знавший об этом **Тарас Григорьевич Шевченко** — и это свое чувство к нему, это знание выразил в следующих строчках:

Будеш, батьку, панувати,  
Поки живуть люди.  
Поки сонце в небі світить,  
Тебе не забудуть.

## 2. ОБРАЗ-ИМАГЕМА УКРАИНЫ У РОССИЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И У РУССКОЯЗЫЧНЫХ УКРАИНСКИХ РОМАНТИКОВ. ЭКСКУРС: УКРАИНА-«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» У ГРЕБИНКИ И У ЛЕРМОНТОВА

Начиная с «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» (1768) английского писателя Лоренса Стерна в Европе входят в моду путешественники, путешествия и отчеты о них — не сухие географические или этнографические сообщения, а по принципу «чем субъективнее, тем лучше».

Так, например, князь **Долгорукий Иван Михайлович (1764–1823)**, обладая легким пером, отправляется в Украину и «открывает» ее города и села для русского читателя в своей книге **«Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года»**.

Что важно: украинцы и русские в книге князя Долгорукого показаны как народы непохожие друг на друга, в чем-то даже противоположные; Украина — как необычный для русского восприятия, экзотический край.

Вот в таком духе эта традиция «путешествий в Малороссию» развивается далее. Впрочем, о городах Украины мы узнаем в них всё меньше, зато «малороссийская деревня» становится имажемой-штампом, затаскивается до полного обезличивания — пока не является вовсе уж абсурдная, оторванная от действительности **«Малороссийская деревня» (1822) Ивана Григорьевича Кулжинского (1803–1884)**. Человека, которого лишь в чисто отрицательном педагогическом плане можно было бы назвать «учителем Гоголя». В литературном же плане Кулжинский был полным антиподом Гоголя, т. е. русским писателем «украинской темы», имя которым в XIX в. — легион. За 60 (!) лет творческой жизни им было написано 90 (!) произведений, известнейшими из которых были драма «Кочубей» и «украинский роман» «Федюша Мотавильский».

Была ли первая, романтическая книга 19-летнего Кулжинского настолько же плоха, насколько потом будет плоха первая, романтическая книга 19-летнего Гоголя «Ганц Кюхельгартен»? Или убийственные отзывы Гоголя о книге Кулжинского были связаны лишь с тем, что не сложились личные отношения молодого учителя латыни в Нежинской гимназии высших наук и его ученика?

Из **«Воспоминаний учителя»** Ивана Григорьевича Кулжинского:

«Во время лекции Гоголь всегда, бывало, под скамьей держит какую-нибудь книгу (...) Принудительных средств у меня не было никаких, кроме аттестации в месячной ведомости. Я писал нули да единицы, а Гоголь три года всё оставался на латинском синтаксисе и дальше Корнелия Непота не заходил в латинскую словесность — с этим и кончил курс.

Надобно признаться, что не только у меня, но и у других товарищей моих он, право, ничему не научился. Школа приучила его только к некоторой формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обязан. Это был талант, не uznанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе».

Педагоги часто думают, что **нули да единицы** так им даром и сойдут. Ничуть не бывало! Даже если никаких иных «принудительных средств», вроде розог, карцера или дневника для вызова в школу родителей, нет под рукой у педагога; даже если настрой ученика самый что ни на есть наплевательский, СТРАХ всё равно просочится в неокрепший организм — и разрешится СМЕХОМ.

Вот, кстати, самое простое, на поверхности лежащее объяснение того ни с чем не сообразного осмеяния, которому в письме гимназиста Гоголя подверглась первая книга молодого учителя Кулжинского. Легко может статься, что малороссийская деревня и в целом Малороссия вообще здесь не при чем. Просто месть за ставшие за три года привычным — и всё же всякий раз заставлявшие вздрогнуть — слова учителя:

— Ну-тка ты, *Universus mundus*, скажи свой урок!

*Universus mundus* — универсальный мир, весь мир — чем плоха кличка для гениального романтика, до такой степени не распылявшегося на мелочи, что, по отзыву того же Кулжинского, «он тогда не знал спряжения глаголов ни на одном языке»? И если для Кулжинского «**под кротким небом Малороссии всякая деревня есть сокращенный Эдем**»,<sup>46</sup> то *Universus mundus* ему отвечает универсальным ниспровержением сего явно искусственного Эдема — в преисподнюю тотального осмеяния.

Так или иначе, **образы-имагемы Украины** становились уже нарицательными и в произведениях гораздо более талантливых русскоязычных украинских писателей, чем Кулжинский.

<sup>46</sup> Кулжинский, И. Малороссийская деревня. М., 1827. С. 25.

Во втором номере журнала «Отечественные записки» за 1839 г. появилось стихотворение **Евгения Павловича Гребенки (1812–1848) «Признание»**. Оно написано в виде развернутого сравнения. Однако сравнение разворачивается постепенно и поначалу — весьма загадочно:

Друзей и родимых и предков могилы  
Покинул на родине я.  
Там полная прелести, девственной силы  
Осталась коханка моя.

Слово **коханка** новое для русского языка, явно заимствованное, причем оно могло быть заимствовано как из польского языка, так и из украинского. Важно, во-первых, что оно в данном случае означает не «любовница», а «возлюбленная» (ибо тут же сказано, что **коханка** полна **девственной** силы). Во-вторых, если читатель не знает происхождения и биографии автора, то он изначально не понимает, является лирический герой украинцем, поляком или, быть может, белорусом...

Следующие 2 строфы — портрет девы небывалой красоты — не помогают читателю всё расставить по местам, а должны еще больше его запутать, создать **тайну**:

Глаза ее смотрят небесной эмалью,  
И зелень одежды в рубинах горит,  
И поясом синим, как сизою сталью,  
Красавицы стан перевит.  
Как золото, светлоблестящей волною  
Роскошные кудри на плечи бегут;  
Уста ее тихой вечерней порою  
Унылую песню поют.

И лишь в 4-й строфе лирический герой нам объявляет, что, оказывается никакой нет **тайны** — одно лишь олицетворение:

И эта чудесная дева — не тайна.  
Я высказать душу готов.  
Красавица эта — родная Украина!  
Ей всё — моя песнь и любовь.

Раскрыв смысл романтического олицетворения, Гребенка переходит к прямому сопоставлению. Он теперь уже прямо сравнивает свою Родину с женщиной:

Как девы прелестной лазурные очи,  
 Украины глядят небеса,  
 Как поясом синим, на юг от полночи  
 Днепром перевита краса.  
 Как шелком зеленым, покрыта степями,  
 И степи в цветах, как рубины, горят.  
 И стелются нивы, как кудри, волнами  
 И золотом светлым шумят.  
 Как тяжкие вздохи печали глубокой,  
 Как матери вопли над гробом детей,  
 Мне в душу запали далеко, далеко  
 Украины песни моей.

Итак, стихотворение Гребенки построено по стандартам романтической поэзии. Образ женщины аллегоричен, условен. Он нужен для создания поэтического эффекта. Красавица, с которой поэт расстался, оказывается не женщиной, а Родиной.

Это стихотворение русско-украинского поэта Гребенки, воспевшего Украину, оказало прямое влияние на одного из самых известных представителей русского романтизма **Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841)**, которому по совершенно личному, субъективному поводу тоже пришлось обратиться к **украинской теме**.

Лермонтов, несомненно, знал стихотворение Гребенки «Признание»: оно было напечатано в том же томе «Отечественных записок», где опубликованы его повесть «Бэла» и стихотворение «Поэт». Но Лермонтов «перевернул» сравнение и в стихотворении «**М. А. Щербатовой**» (1840) не Украину сравнил с женщиной, а свою собственную **коханку** (в прямом и точном смысле слова), родом с Украины, сравнил с Украиной.

Вот это стихотворение:



На светские цепи,  
На блеск утомительный бала  
Цветущие степи  
Украины она променяла,  
Но юга родного  
На ней сохранилась примета  
Среди ледяного,  
Среди беспощадного света.  
Как ночи Украины,  
В мерцании звезд незакатных,  
Исполнены тайны  
Слова ее уст ароматных,  
Прозрачны и сини,  
Как небо тех стран, ее глазки;  
Как ветер пустыни,  
И нежат и жгут ее ласки.  
И зреющей сливы  
Румянец на щечках пушистых,  
И солнца отливы  
Играют в кудрях золотистых.  
И следуя строго  
Печальной Отчизны примеру,  
В надежде на Бога  
Хранит она детскую веру;  
Как племя родное,  
У чуждых опоры не просит  
И в гордом покое  
Насмешку и зло переносит;  
От дерзкого взора  
В ней страсти не вспыхнут пожаром,  
Полюбит не скоро,  
Зато не разлюбит уж даром.

Виртуозные переходы от символического плана лирического подтекста к психологическому вообще характерны для зрелой поэзии Лермонтова. Автору «Демона» гораздо интереснее разбираться с **национальным компонентом в психике и поведении** близкой ему женщины, чем по примеру античного Пигмалиона

из мифических стереотипов «прекрасного» ваять символическую Галатею-«коханку», которую потом некому будет оживить... Если только она уже не живет на самом деле.

Живая Мария Щербатова, лермонтовская «коханка», — не Галатея, созданная чьим-то восхищенным воображением. Зато она плоть от плоти своей страны, имеет ее характер:

Как племя родное,  
У чуждых опоры не просит  
И в гордом покое  
Насмешку и зло переносит...

О чем это? О двусмысленном положении молодой вдовы, которая отнюдь не скрывала своей «связи» с Лермонтовым? Да, и об этом тоже. Но это — первый, бытовой план стихотворения. А фоном, сравнением — **как племя родное** — дан политический план, и этот план не может не поразить вдумчивого читателя как знанием предмета, так и неподдельным сочувствием ему, т. е. трагической судьбе Украины.

Ее трагической судьбе 2 строки в своем панегирике, как мы видели, посвятил и Гребенка: у него есть и **тяжкие вздохи печали глубокой**, и **матери вопли над гробом детей...** Но чтобы понять, о чем идет речь, читатель сам должен быть «в теме», поскольку эти темные пятна на светлом фоне возникают неожиданно и в самом тексте никак не мотивируются. Лермонтов же, оставаясь в пределах психологического портрета милой ему женщины-украинки, создает **национальный типаж**.

Так в творчестве большого поэта (а Лермонтов — несомненно большой поэт всемирного значения), как под увеличительным стеклом, по случайному совпадению наведенном на неожиданный объект, этот объект четко обозначился в своей сложившейся структуре, в своем сложившемся характере.

А это, между прочим, означает, что в литературе данного периода (речь, напомним, идет о 1820-х–1840-х годах) нам следует искать уже не случайные, а системные связи, способствовавшие формированию структуры, характера и самой идеи **украинской нации**. Этим мы и займемся в следующей лекции.

## ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ

### ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАЦИЯ ИЛИ «ПЛЕМЯ ПОЮЩЕЕ И ПЛЯШУЩЕЕ»? СУРЖИК ИЛИ БИЛИНГВИЗМ?

#### 1. ИДЕИ ГЕРДЕРА. «РУСАЛКА ДНІСТРОВА» И ХАРЬКОВСКИЕ РОМАНТИКИ

Во время нашей последней встречи мы обнаружили в литературе 20-х–40-х годов XIX в. явные сигналы о том, что в тесно взаимосвязанных литературных процессах, а по сути — во всё еще едином русско-украинском литературном процессе, должны были существовать не только случайные поводы (пример из прошлой лекции: любовь Лермонтова к Марии Щербатовой-Штерич), а **системные связи**, способствовавшие формированию структуры, характера и самой идеи **украинской нации** (опять на том же примере: удивительный характер Марии для Лермонтова есть **характер украинки**; лирический портрет возлюбленной превращается в национальный типаж).

Но чтоб уж мы сразу охватили единым взором всю систему подобных связей, подобных переходов от частного к общему, свойственных данной эпохе, давайте прежде всего вспомним, что это **эпоха романтизма**. А романтизм (еще одна неизбежная банальность, но которую ни в коем случае нам нельзя упускать из виду) есть реакция на провал попытки воплощения просветительских идей в Европе — попытки «конца» истории и вообще изгнания ее из жизни людей (которые для просветителя все одинаковы, где бы ни жили и каким бы богам ни молились).

В эпоху романтизма человек больше не *tabula rasa* — в нем, как сказал один русский поэт, *дышат почва и судьба*. «Генетический дух, характер народа — это вообще вещь поразительная и странная. Его не объяснить, нельзя и стереть его с лица Земли: он стар, как нация, стар, как почва, на которой жил народ».

Эти слова принадлежат **Иоганну Готфриду Гердеру (1744–1803)**, немецкому философу, одному из идейных столпов романтизма.

По Гердеру, **характер народа** — это не только его, народа, **особенность**, но и его **ответственность**. Такая позиция философа приближает его к более конкретному пониманию этой, по сути,

пустой романтической абстракции («народ») как активной политической субстанции (политической нации).

Одно дело — эстетическое любование «характером народа». Оно может быть свойственно и злейшим врагам этого самого «народа». Так Екатерина II, сделавшая всё возможное и невозможное для уничтожения украинской политической нации, во время вояжа по Украине любовалась «малоросами», которых она обозвала **«племенем поющим и пляшущим»**.

Но по Гердеру именно сам «народ» (и никто за/вместо него) обязан сберечь свое национальное достояние. Ибо только в этом случае он сможет внести в общую сокровищницу народов что-то свое, неповторимое, без чего невозможно мировое единство. В этом, а не в том, чтобы быть «как все», и состоит его божественное призвание. Тот, кто забывает об этом, не только ущемляет национальное чувство другого народа, но и наносит ущерб самому себе, ибо отказывается от того, что принадлежит всем. Можно вспомнить слова Гейне о Гердере: «Гердер не восседал, подобно литературному великому инквизитору, судьей над различными народами, осуждая или оправдывая их, смотря по степени их религиозности. Нет, Гердер рассматривал всё человечество как великую арфу в руках великого мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполинской арфы, и он постигал универсальную гармонию ее различных звуков».

Но как настроить мировую арфу, не зная высоты звука каждой струны? Как понять, чем и почему разные культуры отличаются друг от друга и каким образом составляют целое? К 20-м годам XXI в. наукой накоплен достаточный опыт, а главное — в самом научном (но отнюдь не политическом) мышлении произошли необратимые перемены, которые позволяют решить и эту задачу. Более того, ее решение становится жизненно важным, приобретает не только познавательный, но и нравственный смысл. Необходимо не только признать за каждым народом право на самобытность, но и показать, в чем эта самобытность состоит.

Вот мы сейчас и попробуем этим заняться. И помогут нам в этом именно романтики, в отличие от предшественников-просветителей взявшие на вооружение не «здравый смысл», а интуицию. И это (для того времени) было правильным решением. Ведь к 20-м годам XIX в., т. е. около 200 лет тому назад, наукой не только еще не

был накоплен сколько-нибудь достаточный опыт для подобных обобщений, но и сам вопрос не был поставлен с достаточной научной корректностью. Это было время не ученых, а пророков — хотя именно философы и ученые — и среди них Гердер — продолжали, как и в XVIII в., оставаться в большом авторитете.

Но чтобы понять, каким образом идеи Гердера и дух романтизма пришли в Украину, мы всё еще не должны перемещаться на территорию Российской империи. Почему? А потому что гораздо более благоприятные внешние условия для развития своеобразно-украинского духа возникли в Восточной Галиции (Галичині) и Буковине после разделов Польши и отхода этих земель к Австрийской империи. Ведь в пределах «лоскутной империи» такому живому существу, как «дух народа», дышалось вольнее, чем в государстве, стремящемся к моноэтнизму (ополячиванию, окатоличиванию и т. п.).

И вот уже к началу 30-х годов XIX ст. центрами осознанно-национальной украинской жизни и национального движения неожиданно становятся Львов и Черновцы. Почему? Потому что именно к этому времени в этих городах окончательно сформировано первое поколение немецко-украинских («русских») билингвов, молодых образованных интеллектуалов, вооруженных идеями немецкого романтизма и имеющих непосредственный доступ к тем самым «вечным» истокам «народного духа» своего края, на которые им указывали немецкие романтики.

Современные нам российские пропагандисты, называющие себя историками, часто утверждают, что к формированию первоначального духовного арсенала украинства «приложили руку официальные политики Австрийской империи». Не говоря уже о том, что при этом сбрасывается со счета вся философско-богословская и литературная школа Киево-Могилянской академии (которая, как мы видели в течение всего нашего курса, «приложила руку» к созданию духовного арсенала самой Российской империи, оставаясь при этом сугубо украинской), такой «научный» подход игнорирует очевидные факты.

Фактом же остается то, что украинское («русские») движение на Западной Украине начинается с литературно-философского объединения «**Руська Трійця**». А это объединение возникло во Львове отнюдь не официально, скорее полуполюгально.

Свое название оно получило потому, что его основателями были трое друзей-студентов Львовского университета, воспитанников

греко-католической духовной семинарии: **Маркиян Шашкевич (1811–1843), Иван Вагилевич (1811–1866), Яков Головацкий (1814–1888).**

Следующий факт: их первый совместный сборник («Зоря») был подготовлен к печати во Львове, но запрещен цензурой. Тогда они издали в Буде (ныне Будапешт, Венгрия) в **1837 г. «Русалку Дністрову»**. Этот альманах вышел тиражом в 1000 экземпляров, из которых 100 были отправлены издателем в Вену, около 700–800 изъяла львовская полиция. Но оставшиеся экземпляры всё же дошли до читателей.

В альманахе, который впервые в Западной Украине был издан не на церковнославянском языке, а на живом языке (но по сути еще местном диалекте); который впервые в Западной Украине затрагивал **общеукраинские вопросы**, печатались материалы по истории Украины, которые отражали национально-освободительные устремления украинского народа, произведения национальной литературы, языковедческие, исторические и этнографические работы деятелей украинского возрождения.

Книга начинается вступительным словом Маркияна Шашкевича («Предисловие»), в котором он подчеркивает красоту украинского языка и литературы, и списком наиболее важных поднепровских литературных и фольклорных изданий того времени. Далее материал разделен на четыре части — «Народные песни», «Сочинения», «Переводы» и «Старина». В них опубликованы сборники народных дум и песен с предисловием Ивана Вагилевича, оригинальные произведения Маркияна Шашкевича («Воспоминание», «Погоня», «Тоска по милой», «Сумрак вечерний», «Елена»), Якова Головацкого («Два веночка»), Ивана Вагилевича (поэмы «Мадей», «Жулин и Калина»), а также переводы сербских песен, три исторические песни «из старых рукописей» и др.

Было ли это реальным началом «украинского движения» (как считают некоторые из предвзято-антиукраинских «историков»)? Внимательно изучив культуру Украины начиная с XVII в., мы прекрасно понимаем, что конечно же — нет.

Было ли это началом движения идей европейского романтизма в Украине? И опять-таки — нет. Здесь нужно хотя бы пару слов сказать о таких русско-украинских писателях, как **«харьковские романтики»**.

Речь идет о группе украинских молодых поэтов — профессоров и студентов Харьковского университета **1830–1840 годов**. Они сыграли важную роль в украинском национальном движении. Участники кружка издавали в Харькове журнал «**Українскій вестник**» и «**Українскій альманах**».

Такие имена харьковских историков и поэтов, как Гонорский, Филомафитский и др. участников этого кружка, вскоре были забыты. Другие — как, напр., вышеупомянутый Евг. Гребенка или Квитка-Основьяненко, о котором речь у нас впереди, — стали в Украине хрестоматийными. Но что поражает в харьковском журнале и альманахе, так это почти полное, за редким исключением, отсутствие произведений на украинском языке или даже каком-либо местном диалекте (как это было в альманахе «Русалка...»).

В чем тут дело? Очевидно, в том, что литература на диалекте казалась бесперспективной харьковской университетской публике (хотя среди нее, как и среди львовской университетской публики, много было фактических **билингвов**). А перспектива создания литературного украинского языка казалась нереальной — или даже задачей не будущего, а прошлого.

Приведу парадоксальный пример — письмо **1827 г.** к русскому историку М. П. Погодину некоего М. Мельгунова, уполномоченного самим Котляревским заняться дополненным изданием «**Енеїди**». Этот человек, как мы сейчас увидим, считает, что текст Котляревского — вообще единственный, написанный по-украински:

«Здесь, в М[алой] Р[оссии], найдется много на нее охотников: малороссияне читают ее всегда с новым особенным удовольствием, а прибавление двух или, можно сказать, трех еще неизвестных песней возбудит в них новое любопытство — и успех этой стороны верен. Я равно уверен, что и всякий просвещенный россиянин не останется равнодушным к **единственному произведению М. Российской словесности, памятнику языка, принадлежащего народу, некогда славному, и который вместе с ним, вероятно, скоро исчезнет вовсе и будет жить в одном этом памятнике.** Издание этой поэмы, и издание рачительное, классическое, — было бы благим делом, и поэтому, по моему мнению, стоило бы хлопот и стараний, к тому же еще при жизни автора, который по национальной лености предоставил оное, как видно, на произвол судьбы».

Посмотрим теперь, как на самом деле к этому времени сложилась судьба украинской литературы в харьковско-полтавском регионе. Скорее всё-таки в полтавском, где отнюдь не брезговали ни «полтавским диалектом», который уже в этой самой «Енеїді», как я пытался показать в прошлой лекции, фактически стал **языком украинской художественной литературы** и основой литературного языка как такового, ни даже тем, что языковые пуристы и в прошлом называли, и в настоящем называют «**суржи́ком**».

## 2. КОТЛЯРЕВСКИЙ-ДРАМАТУРГ. ГОГОЛЬ-ОТЕЦ И ГОГОЛЬ-СЫН

Именно на Полтавщине еще и в начале XIX в. прекрасно сохранились карнавално-театральные, ярмарочно-игровые традиции. Откуда мы это знаем? Разумеется, прежде всего из произведений Николая Гоголя — но не только: известен и более широкий контекст его творчества и творчества его предшественников — тот фон, на котором особенно ярко проступает гоголевское дарование.

Гоголь родился не в «родной» Васильевке (она же Яновщина и она же — «хутор близ Диканьки»), а в селе Великие Сорочинцы. В том самом селе, где с незапамятных времен и до лета 2021 года включительно, ежегодно, в августе проходила Сорочинская ярмарка, воспетая самим же Гоголем в одноименной первой повести его первого сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Ярмарка — это не только грандиозная купля-продажа. Это еще и ежегодное собрание населения всего уезда, а то и целой губернии. Родственники и знакомые, не издавшиеся целый год, нетерпеливо выспрашивают, рассказывают, распространяют слухи и сплетни, поют новые песни и повествуют новые и старые легенды.

Но ярмарка — это еще и карнавал, и театр. Вон там народ собрался вокруг цыгана с ученым медведем: цыган бьет в бубен, медведь приплясывает в такт. А вон ряженые в масках... Но вдруг схлынула толпа от торговых рядов и заполонила майдан, в центре которого невысокий помост, за ним — ширма, за ширмой — кукловоды, а перед зрителем — куклы народного театра-**вертепа**.

Тут разыгрываются смешные анекдоты и нешуточные схватки. Тут и Турок, и Лях, и Жид, и Москаль, и Дьяк, и Селянин... Но самый ловкий и смелый — конечно, Козак, который побеждает самого



коварного — Чёрта. Тот запросто может перехитрить даже Цыгана, да что там Цыгана — даже Жида! Но вот с Козаком его трюки не проходят...

Никто не писал текстов народным актерам-кукловодам: они сами на ходу всё придумывали, импровизируя и зубоскаля на злобу дня. В этом, собственно, и состояла вся прелесть ярмарочного вертепа, одинаково интересного и смешного и для босоногого хлопа, и для богато одетого пана.

Впрочем, ко времени рождения Николая (Мыколы) Гоголя местные богатые паны уже додумались не ждать целый год ярмарки, а устраивать спектакли в собственном поместье. Самый знаменитый местный театр был в селе **Кибинцы**, которое за это называли «украинскими Афинами». Принадлежало село со всеми его крепостными душами **Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому (1749–1829)**.

В последние годы правления Екатерины II, потом при Павле I и в начале правления Александра I Трощинский фактически был первым чиновником империи — статс-секретарем. Затем, будучи отстранен от должности молодым царем Александром, старик Трощинский навек переселился в Кибинцы, куда перенес блеск и некую благородную патриархально-авантюрную простоту царствования Екатерины. Вся жизнь местной знати проходила в парке Трощинского, в его беседках и павильонах. В одном из них был устроен театр.

Обширное хозяйство Кибинцов, строительство новых зданий, жизнь и нужды крестьян, даже постановка спектаклей и написание пьес — всё это входило в сферу обязанностей управляющего имением. Этим управляющим был родственник Трощинского, тоже помещик (но в лучшем случае — «средней руки») **Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777–1825)**, отец Никоши (Мыколы) Гоголя.

Неутомимо придумывая всё новые комедии и ставя всё новые спектакли для поддержания театральной славы «украинских Афин» (как с того времени стали называть Кибинцы<sup>47</sup>), Василий Афанасьев-

<sup>47</sup> Интересно, что не только призвание к литературно-театральному творчеству, но и нестандартный подход к нему у жителей этого села сохранились на долгие годы. Один пример: Кибинцы — родина основоположника украинского футуризма **Михайля Семенко (1892–1937)**, который к тому же на поверку оказывается потомственным писателем: его мать, уроженка того же села, простая и тоже потомственная крестьянка, с 1914 г. публиковала свои рассказы из деревенской жизни под псевдонимом **Марія Проскурівна (1860–1945)**.

вич легко находил общий язык с крепостными актерами. Это был **украинский язык**, на котором Василий Гоголь и писал свои пьесы. И страшно волновался на каждой премьере в Кишиневе в ожидании суда искушенных зрителей, к числу которых он, конечно, относил не губернатора или заезжего ревизора «из самого Петербурга», а, прежде всего, мелкого чиновника из Полтавы Ивана Петровича Котляревского и «средней» же руки соседа-помещика **Василия Васильевича Капниста (1758–1823)**.

Ибо Котляревский (автор не только бурлескной «Енеїди», но также и «Наталки Полтавки, оперы малороссийской», и комедии «Москаль-чарівник»), и Капнист (автор известной всей театральной империи комедии «Ябеда») на самом деле принадлежали к числу заметных драматургов старшего поколения, а к тому же были главными авторитетами местной дворянской фронды. Так, когда Наполеон Бонапарт через офицеров своего польского легиона пытался найти тайные пути к сердцу украинских дворян — его агенты, говорят, обращались именно к Котляревскому. Иван Петрович, посоветовавшись с доверенными лицами, в число которых входил и Василий Васильевич, всё же принял решение на французскую приманку не клевать, а, напротив, просить у русского царя разрешения сформировать украинский казачий полк против Наполеона. Разрешение было получено, полк Котляревский успешно сформировал...

Да, прошли те времена, когда полтавские дворяне отправляли Василия Капниста в Берлин (в 1791 г.) — справиться у прусского короля, поддержит ли он восстание «казацкой нации», притесняемой Екатериной и Потемкиным! В Берлине Капнист был даже на приеме у прусского кабинет-министра графа Герцберга, который доложил о нем королю, однако король его не принял, а министр на прямой вопрос ответил уклончиво.<sup>48</sup>

Когда Котляревский, которому этот эпизод несомненно был известен, изображает пруссака, ласково виляющего хвостом («Як, знаєш, лис хвостом виляє») — он, вряд ли повидавший за свою жизнь много прусских чиновников и дипломатов, очевидно, опирается на карикатурный портрет графа Герцберга (в устном исполнении Капниста). Но интересна и сама эта попытка изобразить «типичные»

<sup>48</sup> Источник: <https://rua.gr/greece/abgreece/25130-vasilij-kapnist-tajnaya-missiya.html>.

черты разных наций в сравнении с «козацкой нацией» Энея. Так или иначе, все эти театрално-карнавальные украинские дворяне уже могли «поиграть» в политическую нацию, могли даже от имени ее всерьез апеллировать к Европе — впрочем, им достаточно еще чуждой. В сущности, «что им Гекуба и что они Гекубе»? что им юнкерская Пруссия и особенно революционная Франция, для которой в «Енеїді» Иван Петрович находит сильные козацкие выражения:

Французи ж, давнії сіпаки,  
 Головорізи-різники,  
 Сі перевернуті в собаки,  
 Чужі щоб гризли маслаки.  
 Вони і на Владику лають,  
 За горло всякого хватають,  
 Гризуться і проміж себе:  
 У них хто хитрий, то і старший,  
 І, знай, всім наминає парші,  
 Чуприну всякому скубе.

Но вернемся в Кибинцы, ведь пока мы говорили о политических авантюрах наших драматургов, спектакль там давно уже закончился и публика разъехалась восвояси. И только Василий Афанасьевич Гоголь так заматывался с кибенецкими делами, что некогда было и домой заехать, в свою маленькую деревеньку, названную по фамилии и имени хозяина Васильевкой Яновщиной тож. Чтоб не разлучаться с любимым сыном Никошей, отец часто брал его с собой: и в Кибинцы, и по делам в разные стороны Полтавской губернии. Когда пили чай с Котляревским в его домике на Ивановой горе в Полтаве или когда навещали старого Капниста в его имении Обуховка, то эти великие люди хвалили стихи маленького Никоши и предрекали ему блестящее литературное будущее.

К мысли о нем Никоша так привык, что, явившись наивным 18-летним нахалом в Петербург, первым делом решил опубликовать свои, а заодно и папенькины сочинения. 30 апреля **1829 г.** он писал матери: «Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: Овца-Собака и Романа с Параскою. **Здесь так занимает всех всё малороссийское,** что я постараюсь попробовать,

нельзя ли одну из них поставить на здешний театр. За это по крайней мере достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать — на всё нужно обращать внимание. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом — к третьему, и так далее. Самая малость иногда служит большою помощью».

Из этих слов хорошо видно, что «упрямый хохол» решил добиться успеха в жизни любым путем и во что бы то ни стало. Приехал на ярмарку — веселись, гуляй от всей души, но с пустыми руками домой не возвращайся!

Пускай высокомерная журнальная критика буквально уничтожила, навсегда стерла из памяти современников **«Ганца Кюхельгартена»** — его первое произведение. Пусть начальство по службе не пускает дальше переписыванья глупых бумаг, а слуга Пушкина — дальше его передней (ему, дураку, еще неизвестно то, что ныне знает каждый школьник: что Пушкин **исторически** обречен на знакомство с Гоголем)... Но вот еще шанс: в столице **так занимает всех всё малороссийское**, что можно попытаться что-то сделать с папинькиными комедиями. А нельзя будет их поставить «на театре» — так можно переделать в какие-нибудь «Вечера на хуторе»... И нет никаких оснований упрекать Гоголя-сына в том, что в «переделке» Гоголь-отец не будет даже упомянут. Там ведь и Гоголь-сын не упомянут. Рассказчики — жители Диканьки, ее окрестностей и даже один паньч из Полтавы. Издатель — пасичник Рудый Панько. И никакого «автора».

Тема **«Гоголь и Украина»** в различных ее аспектах была затронута в таком количестве ученых трудов, что одному их перечислению можно было бы посвятить многодневную конференцию.

В русском и советском гоголеведении (включая сюда и советское украинское) «украинство» Гоголя, допуская взаимовлияние этого (общепризнанно русского) писателя и официально признанной украинской культуры, фактически свелось к «местному колориту» «малой родины». И надо сказать, что сам автор «Мертвых душ» неоднократно давал повод к такой трактовке его взаимоотношений с Украиной — например: «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. **Наша Украина** звенит песнями. **По Волге**, от верховья до моря, по всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни» и т. д.

«Весна наций» середины XIX ст., сказавшись, наконец, и в росте политического самосознания украинства, как мы только что видели, затронула умы и определенной части украинских авторов, писавших о Гоголе. В полемическом задоре эти авторы отвергали (а многие и продолжают отвергать) любые попытки представить Гоголя вне его взаимоотношений с украинской политической нацией, будто бы к его времени уже вполне сложившейся.

Соблазнительная цитата из записной книжки Чехова: **«Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения»**. Так-то оно так — de jure. А вот de facto, например, национальные гоголеведения, к сожалению, есть.

Российские гоголеведы плохо представляют себе те реальные веяния, что веяли в гоголевскую эпоху в украинской культуре. И потому не понимают, что сам Гоголь, в силу хотя бы характера его «домашнего» социума и некоторых особенностей его личности, ни в коем случае не мог оставаться вне этих веяний.

Украинские гоголеведы, напротив, недооценивают реальное и ни с чем не сравнимое место Гоголя в русской культуре. Равно как и общеэстетическое, и индивидуальное (а не только «национальное») художественное значение включенности этого писателя в те интереснейшие процессы, что совершались в украинском романтизме.

Видимо, наличие «национальной науки» в той или иной сфере познания свидетельствует о том, что подлинно научная разработка данной сферы еще не начиналась. В самом деле, даже фактологическая база вопроса «Гоголь и украинская культура» (казалось бы, столь основательная!) на проверку никуда не годна, ибо факты стали собираться до попытки ответить на «простой» вопрос: **а что считать украинской культурой?** По-человечески мне близка позиция современного украинского философа Мирослава Поповича (кстати, автора интересного «романа-эссе» о Гоголе). Попович предлагал считать принадлежащим к украинской культуре всё, что было создано в Украине: на украинском ли, польском ли, русском ли языке, на языке ли музыки, живописи, архитектуры, математики и т. д.

Однако в нашем случае такой подход вряд ли даст какой-либо познавательный результат — да и, скажем прямо, не только в нашем. Вряд ли швейцарская культура когда-либо будет претендовать на теорию относительности Эйнштейна на том «простом» основании, что «вдохновила» его на ее создание. С большим основанием

она могла бы претендовать, например, на «Шильонского узника» Байрона (и Жуковского) или «Прозрачные вещи» Набокова. И уже с гораздо большим основанием американская культура претендует на «Лолиту» или даже, допустим, на «Пнина». Вопрос о том, остается ли при этом Набоков второй половины своей жизни еще и русским писателем, можно посчитать досужим.

Гоголь как представитель украинской смеховой культуры — вот единственный вопрос, который можно считать достаточно разработанным и фактологически, и, после известных работ М. М. Бахтина, методологически. При этом неучтенным остается эволюционный аспект, аспект эволюции именно украинской культуры.

Ведь Гоголь является на сцену как раз в тот момент, когда процесс украинского национального самосознания плавно переходит в стадию **самосознания смеха**. Однако стадия эта до Гоголя была пройдена поверхностно: одни украинские писатели осудили других за то, что те, дескать, выставляли комичных «хохлов» на общеимперское посмешище. Была, и довольно успешная, попытка табуировать печатное распространение местной смеховой культуры. Именно поэтому я верю покойному режиссеру-львовянину Роману Виктюку, который, давая интервью киевскому тележурналисту, заявил, что нашел 35 (!?) неопубликованных комедий Гоголя-отца. (К сожалению, ни я и никто другой так и не успел его спросить: так где же они?!)

Украинисты, доблестно и даже не без остроумия отстаивая свое право заниматься **Гоголем-сыном**, на самом деле всё то, что им от него на сегодня нужно, могли бы найти у **Гоголя-отца**. Но этому, вне всякого сомнения, и замечательному, и сугубо украинскому писателю ни один историк украинской литературы до сих пор не посвятил специального исследования. Еще и поэтому мне представляется весьма вероятным, что кроме двух комедий Гоголя-отца («**Простак**», опубликованного еще в позапрошлом веке, и известной только по названию «**Собаки-овцы**»), о присылке которых в столицу Гоголь-сын просил мать, есть и другие.

Их влияние на понимание Гоголем-сыном и украинской культуры в целом, и своей возможности к ней принадлежать — было бы трудно переоценить, если бы все они имели столь же, говоря по-современному, культурологическую направленность, как «Простак», о котором следует сказать более подробно. Мне это представляется совершенно

необходимым в силу того, что семья Николая Гоголя (как всякая нормальная семья) была тем «очерченным кругом» (навязчивый образ ранней гоголевской прозы!), внутри которого формировалась идентичность писателя, и в том числе этническая.

Быть может, одна из причин недостаточного внимания литературоведов к единственной пока нам известной комедии Василия Гоголя состоит в том, что в ней обычно видят слегка усложненный вариант «Москаля-чарівника» **Котляревского**. Однако Д. Иофанов весьма убедительно доказывал, что «Простак» был написан и поставлен **раньше** «Москаля-чарівника»,<sup>49</sup> который, в таком случае, следовало бы считать **его** упрощенным вариантом. В любом случае, еще Д. И. Чижевский усматривал оригинальность комедии В. А. Гоголя в ее «макаронизме», т. е. «смешении языков украинского, русского и церковнославянского».<sup>50</sup> Вопрос: идет ли речь о пресловутом «суржике» — или персонажами «Простака» представлены три актуальные культурно-языковые идентичности?

Украинские крестьянские персонажи — муж, кум, жена — современного украинского читателя поражают беспримесно-чистым украинским литературным языком, какого нынче не сыщешь ни в городе, ни в деревне. Всё дело в том, что это и есть тот самый полтавский диалект, на основе которого этот язык в то самое время и формировался. Кроме того, Гоголь-отец насыщает разговоры этих трех персонажей разнообразными подробностями и даже секретами экономического выживания в условиях отнюдь не барщинного, а оброчного помещичьего хозяйства. Тут поневоле вспомнишь отзыв о Василии Гоголе Д. Иофанова (поставил свое «феодално-крепостническое хозяйство... на путь капиталистического развития»<sup>51</sup>), а также комментарий С. Дурылина к переписке родителей Гоголя — о том, что «буколика и экономика» тесно переплетаются «в старосветских письмах, как и старосветской жизни».<sup>52</sup> В старосветской комедии, как видим, тоже.

В противоположность этой «буколико-экономической» точке зрения трех главных персонажей, в комедии Гоголя-отца выведен

<sup>49</sup> См.: Иофанов, Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 59–63.

<sup>50</sup> Чижевський, Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. Тернопіль, 1994. С. 342.

<sup>51</sup> Иофанов, Д. Указ. соч. С. 29.

<sup>52</sup> Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголей. М., 1928. С. 9.

представитель, так сказать, духовной точки зрения — дьячок, духовное лицо, говорящее исключительно на церковнославянском языке. Лицо это, конечно, сугубо пародийное, причем пародийность его основывается на несоответствии пафоса его высказываний их реальной сути. (Например, простую мысль: «хорошо, что спрятался, когда пришли сотский и москаль» — он выражает первым стихом первого псалма: «*Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...*»). Компрометация церковнославянской культурно-языковой стихии и идентичности — единственная художественная задача этого персонажа.

Наконец москаль. Несостоятельность церковнославянского дискурса с самого начала очевидна, так что каждая следующая реплика дьячка по сути дается лишь для увеселения публики и, не в последнюю очередь, для того, чтобы простая украинская речь Параски по контрасту набирала очки зрительских симпатий. Казалось бы, так же — по контрасту с речью Параски и ее кума — должна сместить украинского зрителя комедии и речь москаля. Но уже в первой сцене с его участием становится ясно, что и он малый не промах: его великорусские присказки так же метки, как малорусские замечания его собеседников — и единственное, в чем он сразу же им уступает, так это в песнях. На удивленный вопрос собеседников, что как же это он так долго живет в Украине и всё не может научиться петь украинские песни, москаль отвечает:

— Да чѣрт ево знает; я долго учился, да мудроно: языком-то не сладишь.

На что собеседник глубокомысленно замечает:

— То вже так. Московський язык дуже гострий, та ба!

В общем, не даются москалю наши нежности и сентиментальности. Как позже заметит Тарас Шевченко, *Москаль любить жартуючи, // Жартуючи кине...*, что не вполне понятно переводчикам (ср. имеющийся английский перевод: *A Muskovite will love for sport, // And loughing go away*<sup>53</sup>). Но дело-то, конечно, не в любви *for sport*, а просто в более поверхностном, прагматичном подходе что к любви, что к жизни вообще: тут чѣрт может сокрыться в мелочной суете, но зато уж от неподвижности не заведется...

В финале москаль не только перехитрил хитрую, но жалостливую (к дьячку) и нежную (к нему же) Параску, но ей же и помог

<sup>53</sup> Shevchenko, T. Katerina. Transl. By John Weir. Kiev, 1972. P. 7.



(разумеется, в обмен на сало). В результате их быстрого, почти бессловесного сговора дьячок избежал расправы ревнивого мужа и покинул хату перемазанный сажей — под видом изгоняемого чёрта; причем на вопрос мужа — а где же рога? — москаль заявляет:

— Рога он тебе оставил.

Конечно, ситуация Солопий — Хивря — попович в «Сорочинской ярмарке», а тем более «игры» уже самой натуральной ведьмы Солохи и с чёртом, и с дьяком — всё это хоть и комическая демонология, а всё же демонология настоящая, не демонология в глазах одного лишь простака. Но, как верно отмечают комментаторы первого тома нового академического издания Гоголя, сам тип ситуации юный автор позаимствовал из комедии своего отца.

А кроме демонологии — позаимствована отчасти идеология. Отметим, например, компрометацию специально-«духовного» содержания или то отчетливое духовное послание, адресованное всем тем землякам, которые со всей округи и даже из самой Полтавы съезжались в Кибинцы, в театр Трошинского. Мол, не высиживайте чёрта в своих личных замкнутых обстоятельствах, не предавайтесь глупости, косности, лени. Да вон хоть на москалей взгляните, солдатской их смекалке подивитесь и переймите хоть сколько можете! В общем, круг замыкается, и мы вновь приходим к тому же самому: «...обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую...» и т. д. Идея, как оказалась, еще Гоголя-отца.

### **3. ЭКСКУРС: ВЫХОДНАЯ АРИЯ НАТАЛКИ ПОЛТАВКИ (КОТЛЯРЕВСКИЙ, МАКСИМОВИЧ ИЛИ ШАХОВСКОЙ?)**

В рассказе **А. П. Чехова (1860–1904) «Человек в футляре» (1898)** учитель Буркин посмел заявить, что **«хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает»**. А профессор из Львова **М. С. Грушевский**, лишь только успел этот рассказ появиться в журнале «Русская мысль» (рядовому львовянину, кстати, недоступном) спешит по-своему пересказать его в журнале «Літературно-науковий вістник».

Пересказ сводится к следующему: модный в России писатель взялся вывести в своем рассказе хохлушку, а **«по ходу дела «влетело» хохлушкам вообще»**. Чехову же «влетело» от украинского рецензента вместо его персонажа — «влетело», собственно, за то, что «среднего настроения у них не бывает». **«Про полек или финок г. Чехов не позволил бы себе сказать ничего подобного»**, — утверждает рецензент. А почему? Да потому что «сознательные» польки или финки не вступают в столь близкое душевное соприкосновение с имперской нацией и уж тем более не пытаются растрогать их образами своей «высшей культуры». «Хохлы» же, говорит Грушевский, именно это и пытаются делать, вот почему «ими пользуются — и презирают».

Интересно, что суждение Грушевского о польках и финках оказалось не просто точным наблюдением, но, в обратной перспективе, верным сценарием поведения и даже пророчеством: ведь только Польша и Финляндия в результате вскоре грянувшей мировой войны навсегда получили независимость от России.

Но какие же, собственно, образцы «высшей культуры» предлагают представителям имперской нации несчастные Коваленки? Да вот же они:

**«Она спела с чувством «Віють витры», потом еще романс, и еще...»**

Но что для равнодушного Буркина «еще романс, и еще» — то для Коваленок ядро национальной мифологии, священное писание украинской культуры, т. е. свод высших ценностей ее.

Что же такое **«Віють витры»**? Современному Чехову читателю Российской империи это было хорошо известно, а вот нашему современнику за пределами Украины — совершенно неизвестно и узнать неоткуда. На запрос в Интернете вы не получите ни одного ответа на русском языке.

Казалось бы, можно посмотреть в примечания к чеховскому рассказу, чего уж проще? Вы удивитесь: ни один комментарий, даже академический (см. Полн. собр. соч. в 30 т. Соч., т. 10), не дает ответа.

А если мы обратимся к жителям современной Украины, то получим самые противоречивые ответы, и самым распространенным будет такой:

— «Віють вітри» — украинская **народная песня**.

— Нет, позвольте! — возразит школьный отличник. — «Віють вітри» — выходная ария **Наталки Полтавки**, главной героини одноименной «оперы малороссийской» **Ивана Петровича Котляревского** — основоположника современной украинской литературы.

— И чему вас только в школе учат? — возразит его бабушка. — Эта песня гораздо старше, и у нее есть автор — великая поэтесса XVII века **Маруся Чурай**.

Самое интересное, что **все три ответа абсолютно верны**.

Иван Петрович Котляревский действительно открывал «**Наталку Полтавку**», впервые поставленную на сцене в **1819** году, этой популярной песней.

**Михаил Александрович Максимович (1804–1873)**, издавая в **1827** и в **1834** годах сборники украинских народных песен, включал в них и «Віють вітри», хотя не мог не знать, что она вошла в текст популярной пьесы Котляревского. А в корпусе песен, числящихся под авторством **Марины (Марии, Маруси) Чурай (1625–1653)**, эта песня занимает отнюдь не последнее место.

Наконец, в сегодняшней дискуссии о песне «Віють вітри» вряд ли уже кто-то вспомнит о русском писателе **Александре Александровиче Шаховском (1777–1846)**, который в **1839 г.** опубликовал историческую повесть «**Маруся, Малороссийская Сафо**». Образ главной героини сразу вызвал подозрение у чуткого к таким вещам критика В. Г. Белинского: «Автор изображает какую-то Малороссийскую Сафо, т. е. влюбленную стихотворицу, как будто бы всякая влюбленная стихотворица непременно должна называться Сафо. Если она выдумана им, то по какому праву он приписал ей прекрасные народные песни?»<sup>54</sup>

Так и считалось до недавнего времени в филологии и фольклористике, что Маруся Чурай, как фигура сугубо мифологическая, обязана именно Шаховскому первым своим рождением. Свежая новость однако состоит в том, что на самом деле новостей никаких нет и что Маруся Чурай — фигура всё-таки историческая.<sup>55</sup>

Вернемся, однако, в чеховскую эпоху, т. е. в конец XIX века, когда именно «**Наталка Полтавка**» приобрела всероссийскую популярность — в новом музыкальном оформлении **Николая Витальевича**

<sup>54</sup> Белинский, В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 3. С. 103.

<sup>55</sup> Об этом подробнее см. в моей книге: Звиняцковский, В. О прекрасном постоянстве. Русские писатели XIX века и Украина. Киев, 2019. С. 58–72.

**Лысенко (1842–1912)** в 1889 г. и затем в 1890-е годы с триумфом прошла на петербургской, московской и других российских сценах во время гастролей украинской труппы **Николая Карповича Садовского (1856–1933)**, с **Марией Константиновной Заньковецкой (1854–1934)** в главной роли. Именно ее, ставшее классическим, исполнение арии «Віють вітри...» не раз слышал Чехов, и не только с большой сцены, но и на вечерах, подобных тому, на котором Беликов услышал пение Вареньки.

Воспоминания великой украинской актрисы о Чехове позволяют даже усмотреть некий автобиографический поворот в образах Беликова и Вареньки. И уж во всяком случае очень серьезное значение придавал сцене исполнения арии современный Чехову читатель рассказа «Человек в футляре», ведь у него эта ария была, что называется, на слуху. Именно она превратила скучные именины директора провинциальной гимназии в яркие украинские «вечорниці», где начинает разыгрываться настоящая драма с последними тактами медленно угасающей песни Вареньки-Наталки:

До кого я пригорнуся, і хто приголубить?  
Коли тепер того нема, який мене любить.

Если не держать в уме этот призыв одной одинокой души к другой одинокой же душе, то непонятно, почему Беликов буквально бросается навстречу (так и настолько, как и насколько он это только может).

Бросаясь навстречу «хохлушке» Вареньке, Беликов, по замыслу Чехова, должен «сломать мозг» читателю. Но работало это только для современников самого Чехова — ведь только они понимали, с одной стороны, **какой текст** она ему только что пропела — а с другой стороны, «какой ужас», со своей же прежней точки зрения, он под воздействием ее пения произнес.

Ведь о Беликове на первой странице рассказа сообщается, что он обожал «циркуляры» (т. е. приказы различных министерств и ведомств), особенно те, что содержали категорический запрет. И вот под воздействием ее пения он в ту же минуту нарушает первый подвернувшийся ему под руку «циркуляр», а именно «циркуляр» о национальной безопасности. Поневоле вспомнишь шутку раннего

Чехова: «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству».

Но какой же циркуляр по национальной безопасности нарушил Беликов — большой любитель именно циркуляров? А так называемый **Валуевский циркуляр** (по фамилии одного из министров внутренних дел), согласно которому никакого особого **«малороссийского языка»** никогда не было, нет и быть не может. Его-то и нарушил ревностный исполнитель циркуляров и образцовый учитель хотя и мертвого, но несомненно существующего древнегреческого языка, когда посмел сравнить этот последний с родным языком своей возлюбленной. Он, как мы помним, «подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— **Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий».**

И это было начало любви — чувства, которое Беликов узнал в первый и в последний раз в своей жизни...

Если же историю Беликова и Вареньки Коваленко воспринимать метафорически, то метафора в современном контексте выходит куда как интересной — и тоже пророческой: «Беликов, влюбляясь в Вареньку, вдруг раскрывает желание смерти — то есть себя как смерти — слиться с чем-то живым, воскреснуть, ожить. А не получается, потому что он приходит к Коваленко с угрозой подать на него жалобу, поскольку они ездят на велосипеде, поскольку они читают какие-то недозволенные книги, ведут себя вольно... И тот спускает его с лестницы... это такая провидческая метафора того, что сейчас происходит: Коваленко спускает Беликова с лестницы. Тот прогрохотал по ней, Варенька в это время входила, она захохотала своим таким южным раскатистым смехом. «И на этом, — пишет Чехов, — закончилось всё: и земное существование Беликова, и его надежда на счастливый брак». Вот это происходит сейчас в истории. Кстати, Коваленко — это учитель истории и географии. Вот это история и география нашего времени: когда один учитель спускает другого по лестнице истории».<sup>56</sup>

Вообще же не раз замечалось, что на истинно, внутренне культурных русских людей, впервые соприкоснувшихся с украинской культурой, она действует как неожиданный прорыв к их подлинному душевному естеству.

<sup>56</sup> Мих. Эпштейн в интервью «The Insider», 01.06.2023.

Так один знакомый Чехова, молодой московский портной **Иван Алексеевич Белоусов (1863–1930)**; оценим сходство с фамилией **Беликов**), прочитав стихи Шевченко, **стал поэтом** и до конца своей жизни — пропагандистом **«Кобзаря»**. В **1887 г.** он на свои средства выпустил книжку, которую разослал московским литераторам, и Чехов, как раз вернувшись из поездки по Украине, так оценил неожиданное созвучие: «Самый выбор Шевченко свидетельствует о Вашей поэтичности... Мне кажутся прекрасными стихи «Вдова»... «Украинская ночь».

Кстати, в указателе ко 2-му т. Писем Чехова (12-томная часть вышеупомянутого 30-томника) и в сводном указателе к томам писем эти стихотворения приписаны Шевченко. Но если «Вдову» еще можно с натяжкой признать перепевом стихотворения без названия «Ой крикнули сірії гуси...», то «Украинская ночь» — вполне оригинальное стихотворение Белоусова.

Всё дело в том, что его книжка называется не *«Из Кобзаря Шевченко. (Украинские мотивы)»*, как сказано в академическом комментарии, а **«Из «Кобзаря» Т. Г. Шевченко и украинские мотивы»**. Проф. Грушевский опять назвал бы недопустимым это смешение стихов поэта-портного с образцами и ценностями высшей культуры украинства. Однако для Чехова, который, разумеется, отдавал себе отчет в несопоставимости дарований Белоусова и Шевченко, в творчестве последнего был важен тот же демократизм, тот же проникновенный, чисто житейский драматизм, который он усмотрел и в «Наталке Полтавке» Котляревского — и использовал для «расфутляривания» Беликова.

Но чтобы лучше понять ту уникальную роль, которую личность и творчество **Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861)** сыграли (и, верю, **могли бы** еще сыграть) в **русской** культуре и, соответственно, в системе **русско-украинских литературных связей**, нам в следующий раз еще предстоит попробовать лучше понять ту уникальную роль, которую этот поэт сыграл в самой **украинской** культуре.

## ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТАЯ

### «ТЫ СМЕЕШЬСЯ, А Я ПЛАЧУ...»

В прошлый раз мы мимоходом затронули вопрос о «самосознание смеха» как одном из этапов эволюции украинской культуры первой половины XIX века. Но теперь давайте тщательнее задумаемся в эти слова и прямо скажем, что **самосознание смеха** — это то, чего, рассуждая по опыту и здравому смыслу, не бывает и быть не может. Как только человек начинает сознавать, почему или «во имя чего» он смеется и смешит, так сразу он утрачивает обе эти способности.

Собственно это и произошло в 40-е годы XIX столетия с Николаем Васильевичем Гоголем. Попытка осознать свой смех, отделить смешное от несмешного, представить смех в качестве героя, да еще единственного положительного, «честного лица» (см. **«Театральный разъезд после представления новой комедии», 1842**) — всё это, в конце концов, привело к утрате способности смеяться и смешить.

Доказать этот в общем-то банальный тезис можно достаточно коротко и просто, да и не стоило бы ломиться в открытую дверь, если бы не одно «но». Суть его в том, что на индивидуальную попытку гоголевского «смехового самосознания» наложилась попытка как раз в это время активно вызываемой к жизни и самосознанию целой национальной культуры, а именно — украинской (Гоголь, как мы это уже видели, принадлежал к ней в той же мере, что и к русской, хотя и «с другой стороны»).

И вот это — конечно, отнюдь не случайное — наложение одной попытки на другую осложняет историю гоголевского смеха и «несмеянства» ровно настолько, чтобы она могла стать предметом некой «теории смеха».

Беру ее в кавычки, потому что она пока еще не существует, и, не претендуя на немедленное ее создание, но в свете ее необходимости, рассмотрю всего лишь два эпизода творческой биографии Гоголя середины 40-х годов.

## 1. МЫСЛИ НА РОЖДЕСТВО

В канун протестантско-католического Рождества 1844 года, во Франкфурте-на-Майне, у Гоголя, наконец, дошли руки ответить на весьма важный вопрос, который еще 3 (15) ноября задала ему в своем письме его задушевный друг А. О. Смирнова-Россет. И вот так начинается он свой рождественский подарок-ответ: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими».

Действительно, в указанном письме Смирнова о своих «спорах с другими» сообщала следующее:

«У Ростопчиной при Вяземском, Самарине и Толстом разговорились о духе, в котором написаны ваши «Мертвые души», и Толстой сделал замечание, что вы всех русских представили в отвратительном виде, тогда как всем малороссиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их; что даже и смешные стороны имеют что-то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как Ноздрев; что Коробочка не гадка именно потому, что она хохлачка. Он, Толстой, видит даже невольно вырвавшееся небратство в том, что когда разговаривают два мужика и вы говорите «два русских мужика»; Толстой и после него Тютчев, весьма умный человек, тоже заметили, что москвич уже никак бы не сказал «два русских мужика». Оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе», где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрия и Остапа».<sup>57</sup>

62-летний отставной полковник граф **Федор Иванович Толстой**, авантюрист и скандалист по кличке «Американец», а по сути — известный в салонах образчик «истинно русского человека». Он представлен классическим ругателем Гоголя в «Развязке „Ревизора“» под именем Петра Петровича.

«Играющему Петра Петровича, — напишет Гоголь великому русско-украинскому актеру Щепкину через два года после этой истории, — нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого».

<sup>57</sup> Переписка, Н. В. Гоголя в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 124.



Итак, Федор Иванович Толстой крупно, отчетливо, зернисто, по-русски смачно говорит свой обычный, в каждом салоне повторяемый вздор. Сергей Тимофеевич Аксаков тоже однажды «сам слышал» слова «американца Толстого», сказанные «при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России» и что его следует в кандалах отправить в Сибирь»...<sup>58</sup> Таких блюстителей «святой Руси» хоть пруд пруди; с ними всё ясно и в сущности неинтересно.

Но вот в разговор вступает второй **Федор Иванович — Тютчев (1803–1873)**. (Прямо как в «Ревизоре» Гоголя: Петр Иванович Добчинский и Петр Иванович Бобчинский!) Но второй-то Федор Иванович — поэт, «родственный голос». К тому же, по справедливому отзыву Смирновой-Россет, «весьма умный человек» — автор политических трактатов на французском языке. И вдобавок как раз в **1844 г.** (о чем еще не знает Гоголь) Тютчев, как он сам пишет в стихотворении **«Колумб» (1844)**, весь в ожидании «нового Колумба», готового «довершить наконец Судеб неконченное дело»... В ожидании «заветного слова» — как «тройка Русь» в финале тех самых, обсуждаемых в салоне Ростопчиной, «Мертвых душ»:

Скажи заветное он слово —  
И миром новым естество  
Всегда откликнуться готово  
На голос родственный его.

Таким идеальным **заветным словом** для Тютчева было бы слово о единстве всех славян под эгидой России. Но когда он пишет об этом в **1841 г. («К Ганке»)**, то, вольно или невольно, ассоциирует такую славянскую страну, как Украина, с запоминающимся образом украинца Гоголя — **Вием**. И так, задолго до Мандельштама, возникает образ **Киева-Вия**:

Рассветает над Варшавой,  
**Киев очи отворил,**  
И с Москвой золотоглавой  
Вышеград заговорил!

<sup>58</sup> Аксаков, С. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 40.

Но пока на самом деле не прозвучало магическое **«Поднимите мне веки»**, Тютчеву вольно рассуждать о том, что **«вся душа хохлацкая вылилась»** у Гоголя в **«Тарасе Бульбе»**...

Но не странна ли непреходящая острота интереса к последним произведениям Гоголя — «Мертвым душам» и второй редакции «Тараса Бульбы», которым было от роду уже два года?.. Т. е. новостью для салона Ростопчиной, и тем более остроактуальной, они быть уж никак не могли...

Однако же именно в эти дни начинает свои петербургские гастроли **Михаил Семенович Щепкин (1788–1863)**, друг Гоголя. В его репертуаре — не только «Ревизор», но «Москаль-чарівник» и «Наталка Полтавка». Вот и повод для разговоров о «хохлацкой душе»!

Как в театре, так и в литературных салонах Щепкин всегда появляется в окружении живущих в Петербурге земляков-украинцев. Один из них, а именно **Тарас Григорьевич Шевченко, 13 декабря 1844 г.** пишет свое стихотворное послание великому актеру Щепкину, которое тот с удовольствием исполняет в тех самых модных салонах, где как раз в это самое время яростно спорят о том, «какая душа у Гоголя».

Ответ самого Гоголя на эти споры нам уже известен. Он в том самом письме к Смирновой-Россет, написанном под Рождество во Франкфурте: **«...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская»** и т. д.

Гоголь через Смирнову отвечал не только двум Федорам — Тютчеву и Толстому, о которых корреспондентка сообщала, что «оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе», где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрия и Остапа», а в «Мертвых душах», напротив, все русские представлены «в отвратительном виде». Аудитория гоголевского ответа была гораздо более широкой, нежели избранный кружок друзей графини Ростопчиной. И об этом, в частности, можно заключить, **сопоставив даты** описанного Смирновой обсуждения «Мертвых душ» в салоне Ростопчиной, где привычно витийствовали оба Федора, и ответа Гоголя на их витийство, с датами двух стихотворных посланий Тараса Шевченко.

Ответ Гоголя, написанный во Франкфурте **24 декабря по новому стилю**, к **11 января по тому же стилю** уже должен был быть не

только получен в Петербурге, но и стать известным всем заинтересованным лицам. Ведь Гоголь не только разрешил объявить свой ответ в салоне Ростопчиной, но в своем письме Смирновой прямо указывает, что обращает его не только к ней, но и ко всем «другим», кто спорил о его, «хохлацкой или русской», душе.

Почему важна дата **11 января 1845 г.**? Потому что по старому стилю это как раз **30 декабря 1844 г.** — **та самая дата, что стоит под стихотворным посланием Шевченко «Гоголю»:**

За думою дума роем вилітає,  
 Одна давить серце, друга роздирає,  
 А третя тихо, тихесенько плаче  
 У самому серці, може, й Бог не бачить.  
 Кому ж її покажу я,  
 І хто тую мову  
 Привітає, угадає  
 Великеє слово?  
 Всі оглухли — похилились  
 В кайданах... байдуже...  
 Ти смієшся, а я плачу,  
 Великий мій друже.  
 А що вродить з того плачу?  
 Богилова, брате...  
 Не заревуть в Україні  
 Вольнії гармати.  
 Не заріже батько сина,  
 Своєї дитини,  
 За честь, славу, за братерство,  
 За волю України.  
 Не заріже — викохає  
 Та й продасть в різницю  
 Москалеві. Це б то, бачиш,  
 Лепта удовиці  
 Престолові-отечеству  
 Та німоті плата.  
 Нехай, брате. А ми будем  
 Сміяться та плакати.

Есть много данных в пользу того, что в декабре 1844 г. Шевченко обратился с **символическим, никогда не дошедшим до адресата посланием** именно потому, что он тогда **присутствовал и при споре о том, «какая у Гоголя душа», и при обсуждении ответа на этот вопрос самого Гоголя**, полученного из Франкфурта через Смирнову.<sup>59</sup> Этот вопрос не мог не интересовать украинского поэта. Сам-то он, хотя и писал прозу по-русски, о своей национальной душе всё знал и никаких тайн на сей счет не имел. Но, видимо, до поры надеялся, что эти тайны есть у Гоголя.

Не имел подобных тайн и русский поэт Тютчев, обличавший «тайну» Гоголя в салоне Ростопчиной, — хотя и он для своей политической публицистики предпочитал родному русскому неродной французский... И что при этом интересно: оба поэта, русский и украинский, считали Гоголя «чужим» писателем, стоящим вне столбовой дороги родной им поэзии. И по одной и той же причине.

Причина эта — **смех Гоголя**. Ведь если верить Смирновой, умный, утонченный Ф. И. Тютчев говорил в салоне Ростопчиной то же самое, что и недалекий грубиян Ф. И. Толстой: что Гоголь над русскими смеется каким-то **не таким смехом**, как над малороссиянами, у которых в произведениях этого писателя **«даже и смешные стороны имеют что-то наивно-приятное»**.

Но ведь это именно такое отношение к украинскому типу и — шире — к украинскому языку и культуре, **против которого выступили поздние украинские романтики, прежде всего Квитка и Шевченко**. Они больше не хотели видеть своего соотечественника смешным, пусть даже при этом и «наивно-приятным».

Харьковский романтик **Григорий Федорович Квитка-Основьяненко (1778–1843)** особо подчеркивал, что свою сентиментальную повесть **«Маруся» (1832)** написал с единственной целью: показать, что **литература на украинском языке способна не только рассмешить, но растрогать**. Следуя традиции Квитки, ранний Шевченко создает в том же сентиментальном духе поэму **«Катерина» (1839)**.

И вот теперь Шевченко недаром противопоставляет Гоголя — самому себе — именно по этому принципу:

<sup>59</sup> Подробней об этом см. в моей книге: Звизняцковский, В. Николай Гоголь. Тайны национальной души. Киев, 1994. С. 515–523.

**Ти смієшся, а я плачу,**  
Великий мій друже.

В украинской литературе типаж смеющейся над всеми невзгодами Наталки Полтавки Ивана Котляревского к тому времени постепенно уступает место типуажу плачущих Маруси Григория Квитки и Катерины Тараса Шевченко. Эти запоминающиеся образчики «чистого смеха» и «чистых слез» создали стереотипный образ украинки, так что, как видим, чеховский персонаж, чьи слова (и отзыв на них проф. Грушевского) мы обсуждали в прошлый раз, **следуя именно этой традиции** заявлял, что **«хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает»**.

Что же до гоголевских женских образов, то гоголеведы давно заметили их вторичность, стереотипность — а такое отношение к женщине вообще, и с точки зрения украинской литературы в особенности, огромный недостаток. И не удивительно, что центральное место в обсуждении современниками «малороссийских» гоголевских персонажей занимали не «хохлушки» вроде Коробочки, а такие «хохлы», как отец и сыновья Бульбы.

Тарас Шевченко разделял всеобщее восхищение своим тезкой и его «сынами» в петербургских литературных кругах. В своей поэме **«Гайдамаки»** он даже заставил вполне реальное историческое лицо, уманского полковника Ивана Гонту, «повторить подвиг» Бульбы — убить своих детей, чего в действительности не было (и Шевченко хорошо об этом знал). Вместе с тем в своем поэтическом послании к Гоголю он с горечью констатировал, что среди нынешних украинцев нет уж таких людей:

Не заріже батько сина,  
Свої дитини,  
За честь, славу, за братерство,  
За волю України...

Послание Шевченко **«Гоголю»** интересно еще и тем, что, кроме уже освоенных и отчасти присвоенных самим автором послания — и потому как бы уже не вполне гоголевских — образов «батька» с «сыном», оно не содержит более ни одного упоминания или хотя

бы намек на какой-либо иной гоголевский текст. И что самое интересное, повествуя о Гоголе как о своем *смеющемся* «великом друге», Шевченко, собственно говоря, не приводит никаких смеховых фактов, примеров, аллюзий.

Таким образом, объектом гоголевского смеха, в точном соответствии с замыслом самого Гоголя, в послании Шевченко представлены **в целом современность и современный человек** — по слову Городничего в финале «Ревизора»: **«Чему смеетесь? — над собою смеетесь!..»**

## 2. МЫСЛИ НА ПАСХУ

А теперь вернемся к украинским истокам гоголевского смеха.

«**Вот настоящая веселость**», — писал Пушкин еще о первой книжке гоголевских «**Вечеров...**», когда она только вышла из печати. Но его отношение уже ко второй книжке, судя по всему, было более сдержанным. Припоминая несколько лет спустя свои первые впечатления, Пушкин писал: «изумившись русской книге, которая заставила нас смеяться, мы (...) простили (...) бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов».

С тех самых пор повелось, высоко ценя «настоящую веселость» гоголевских «малороссийских повестей», «прощать» им «неправдоподобие», заменив это слово «фантастикой». И лишь позднее, когда сам Гоголь задумался над природой собственного смеха, ему, да и некоторым его единомышленникам, стало совершенно ясно, что его «фантастика», а точнее говоря — **демонология** изначально тесно связана с его смехом.

И один из таких единомышленников позднего Гоголя, профессор Московского университета **Степан Петрович Шевырев (1806–1864)**, в письме, написанном в вечер на Пасху 1847 г., ободрял его таким примером: «Раз случилось мне говорить с одним русским, богомольным странником, который собирался в Иерусалим и был у меня. Звали его Симеон Петрович. Рыженький старичок. (...) Весьма иронически и всегда с насмешкой говорил он о дьяволе, называя его дураком: «В яме сидит, дурак, сам, и хочет, чтобы и другие туда же засели. Прямой дурак!» Вот мысль русского и христианского комика: дьявол первый дурак в свете и над ним

надобно смеяться. Смейся, смейся над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен».<sup>60</sup>

Гоголь отвечал:

«Слова твои о том, как чёрта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только о том и хлопочу, **чтобы после моего сочинения насмеялся человек над чёртом**. Я бы очень желал знать, откуда происхождением тот старик, с которым ты говорил. **Судя по его отзывам о чёрте, он должен быть малороссиянин**».

И кстати заметим (ибо это важно), что персонаж, которого Шевырев в своем письме к Гоголю торжественно именует «дьяволом», в ответе Гоголя попросту назван «чёртом».

Первым всю важность ответа Гоголя Шевыреву почувствовал Д. С. Мережковский. Но хотя гоголеведческие эссе Мережковского написаны уже тогда, когда и гоголевский ответ, и само письмо Шевырева были опубликованы, но мечту «чёрта выставить дураком» он подавал как индивидуальное желание Гоголя, а не «мысль русского и христианского комика» (как о ней говорил Шевырев), или же мысль **украинского комика** (как уточнял Гоголь). Этой разницы между индивидуальным и коллективным (общенациональным) смехом не заметил ни сам Мережковский, ни его наиболее последовательные критики в этом вопросе (К. В. Мочульский,<sup>61</sup> В. В. Зеньковский<sup>62</sup>). А между тем она существенна. Увлекательная (в изображении Мережковского) «борьба Гоголя с чёртом»<sup>63</sup> утрачивает добрую половину своего спортивного азарта, если предположить, что она не с Гоголя началась и не им закончится.

Ведь почему Гоголю было так важно, «откуда происхождением тот старик»?.. Почему «судя по его отзывам о чёрте», Гоголь утверждал, что «он должен быть малороссиянин»?.. В научном отношении вопрос этот, на мой взгляд, более увлекателен и, главное, более перспективен, нежели гадание на биографической гуще о том, Гоголь ли, в конце концов, победил чёрта или наоборот. В научном отношении вопрос этот есть вопрос об истоках и об эволюции

<sup>60</sup> Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 352.

<sup>61</sup> Мочульский, К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 49–50.

<sup>62</sup> Зеньковский, В. Н. В. Гоголь. Париж, б. г. С. 199.

<sup>63</sup> Мережковский, Д. Эстетика и критика в 2-х т. Харьков, 1994. С. 594.

украинской смеховой демонологии: до Гоголя, у Гоголя и даже после Гоголя.

«Демонологическими анекдотами»<sup>64</sup> называет Мочульский те повести в «Вечерах», где как будто легко удаётся то, над чем «уже с давних пор» (и это заметим!) «хлопотал» Гоголь: «чтобы после моего сочинения насмеялся человек над чёртом». Наиболее ясно, ярко и весело это удаётся герою (и автору, и читателю!) «Ночи перед Рождеством». Так это, как правило, случается и в «украинской народной сказке с ее исконным дуализмом, борьбой Бога и дьявола»,<sup>65</sup> и в вертепе. Интересную гипотезу о причинах дуалистической напряженности именно украинского религиозно-мифологического сознания еще с XVII в. (ср. мою вторую лекцию) выдвигал упомянутый выше М. М. Бахтин: в эпоху, когда «реформационные веяния» носились в воздухе, когда православию угрожали нападки униатов, мобилизовывался весь аппарат святынь, вокруг него подновлялся и творился целый эпос легенд, устрашающих и требующих беспрекословного подчинения авторитету. Однако не только вся эта «контрреформация», но и сами по себе «реформационные веяния» повлияли на характер украинского демонологического комизма (или комического демонологизма).

Интересно, что механизм этого влияния раскрывает Шевырев сразу после своего пояснения Гоголю характера и смысла его, гоголевского, смеха: «Ты пишешь ко мне, что ты путем разума, путем скорее протестантским, дошел до Христа: итак, если разум для тебя во Христе, то неразумие и вся глупость должны быть в человекоубийце, во враге Его».<sup>66</sup>

Впрочем, вряд ли для Гоголя всё это стало бы откровением, прозвучи оно просто из уст Шевырева. Но, судя по ответу, потрясло его другое, а именно то, что своим «отзывам о чёрте» Шевырев был обязан некоему **«рыженькому старичку»**. **Рудому...** «Судя по его отзывам о чёрте, он должен быть малороссиянин». Да это просто Рудый Панько явился в трудную минуту, дабы поддержать своего создателя!..

<sup>64</sup> Мочульский, К. Цит. соч. С. 19–20.

<sup>65</sup> Московкина, И. Смех против чёрта в прозе Н. В. Гоголя и Л. Андреева // Література та культура Полісся. Вип. 12. Ніжин, 1999. С. 188.

<sup>66</sup> Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 352.



У него, у Рудого Панька, свой опыт и свои знания о чёрте: емкая формула этого опыта и этих знаний досталась ему еще от деда, она — в выводе «Вечеров»: «(...) **всё, что ни скажет враг Господа Христа, всё солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!**»

Почему у него правды нет? Потому что он ее **знает, но скрывает** («лукавый») — или потому что он ее **не знает?**.. Если будет доказано, что Гоголь дал нам основания подходить к изображенному им чёрту с точки зрения **знает, но скрывает**, то тогда мы, собственно говоря, вряд ли сможем найти в его демонологии что-нибудь принципиально новое по сравнению с общеромантической демонологией. Однако Гоголь не раз утверждал и подчеркивал, что «чёрта просто называет чёртом» и «не дает ему вовсе великолепного костюма *a la Байрон*». Типичный для романтизма демонический дискурс Гоголь осуждал, например, в своем известном отзыве о лермонтовском «демоне», который, на взгляд Гоголя, «вырос не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним». Яростное, доходящее до смеха, презрение Рудого Панька к «собачьему сыну» — чёрту — вот то отношение, которое осталось у Гоголя до самого конца и которое является подлинным источником его комизма. Ключ к пониманию этого источника Гоголь дает нам в своей дружеской переписке. А изданием «Выбранных мест...» из нее он дает нам право пользоваться этим ключом. «(...) пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело», — говорит Гоголь о чёрте в **1844 г.** в письме к С. Т. Аксакову, таким образом, ни на пядь не отступая от выводов Рудого Панька на последней странице «Вечеров». И в том же абзаце письма мы читаем: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствии».

«Пословица, — пишет Гоголь, — не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти*». Природа смеха здесь та же, что и смех ветхозаветного пророка, повествующего о восстании и падении Люцифера: «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой...» (Ис. 14:13). Или — смех евангелиста над бесами, попросившимися войти в свиней (Мф. 8:31): эти свиньи тут же бросились в море и утонули, «Бог ему и над свиньей не дал власти»...

Но если те бесы вошли в свиней, то бес гоголевской «Ночи перед Рождеством» едва сам не стал жертвой украинской Цирцеи — Солохи, «превратившей» представителей сильного пола в кабанов. Чуб, принятый в мешке за кабана, продолжает «игру» и говорит уже о дьяке: « (...) в мешке лежит еще что-то, если не кабан, то наверно поросенок (...)». За «молочного поросенка» мог бы сойти и чёрт в самом маленьком из мешков Солохи, если бы Вакула не захватил его с собой...

Но лучше бы он оставил его лежать на месте! Да, он вволю «насмеялся над чёртом», победил его силой своей любви к Оксане и силой своего искусства... Но, раз впутав его в свои украинские дела, не может уже окончательно от него отделаться никаким способом: ни епитимьей, ни покаянием.

«(...) похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами». Это — традиционный *happу end* народного «демонологического анекдота», но не финал гоголевской повести; Гоголю осталось еще рассказать о том подвиге Вакулиного искусства, за который преосвященный его не хвалил: «Это однако ж не всё: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула чёрта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *он бач, яка така намальована!* и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».

Нет, недаром у невинных младенцев слезы останавливаются при виде «чёрта в аду», над которым подшутил Вакула. Он-то, чёрт, конечно, «в аду», т. е. «дурак» и «в яме сидит», но Вакулина шутка над ним зашла слишком далеко, и вообще с ним шутки плохи, ибо здесь заканчивается лишь *первая* повесть второй книжки «Вечеров», повесть о победе над чёртом, и начинается *вторая*, которая так и называется — «Страшная месть»... Ключ к пониманию, почему так произошло и почему нарисованный чёрт вырвался и отомстил, содержится в первой фразе *третьей повести*: «С этой историей случилась история...». И лишь в финале *четвертой и последней* мы узнаем, как надо было поступить Вакуле с чёртом: запечатать мешок крестом, закопать и загородить плетнем, за который «кидать всё, что ни есть непотребного». Тогда никакой «истории» не случилось

бы, это правда, — но тогда Вакула вряд ли женился бы на Оксане...

(Но и еще кое-чего бы не произошло, о чем я говорил в 3-й лекции.)

Таким образом, Гоголя как «смехового» писателя, совсем как одного из его персонажей, убило то же, что и породило: его историческая родина, а точнее — сознание им своих прав и обязанностей по отношению к украинской культуре.

30-летний поэт и художник, который явился в салон Ростопчиной в «свите» Щепкина и молча вслушивался в споры о том, «какая душа» у Гоголя, а также о том, как по-разному автор «Мертвых душ» смеется над великороссом Ноздревым и малоросской Коробочкой, — этот самый никому тогда неизвестный художник и еще менее известный поэт уже знал за собой право *sub specie aeternitatis* обратиться с дружеским посланием к не знакомому ему лично «великому другу» и «брату» (как он называет Гоголя в своем неотправленном послании). Суровый Кобзарь, он в украинской культуре являет собой один из ее полюсов. На другом — великий национальный комик Гоголь. Как предсказал в своем послании Шевченко, так в точности и вышло.

Гоголь как представитель украинской смеховой культуры является на сцену именно в тот момент, когда процесс украинского национального самосознания плавно переходит в стадию самосознания смеха. Однако стадия эта до Гоголя была пройдена поверхностно: одни украинские писатели осудили других за то, что те, дескать, выставляли комичных «хохлов» на общеимперское посмешище, и попытались табуировать печатное распространение местной смеховой культуры.

Если бы не Гоголь, то никто и не додумался бы до того, о чем догадались, видно, не одни завсегдатаи салона Ростопчиной: что смех украинца над украинцем «не таков», что это не просто юмор или сатира в чисто литературном понимании, что у него есть своя скрытая мистическая и, можно даже сказать, религиозная сверхзадача: **«чёрта выставить дураком»**.

Украинский хлопец Вакула — духовный автопортрет, в сущности, такого же украинского хлопца, в 23-летнем возрасте сочинившего свою гениальную «Ночь перед Рождеством». И опять-таки мы не догадались бы об этом, если бы Гоголь в самом конце не проговорился,

что Вакула — художник и что свои чисто украинские смеховые забавы с чёртом он мало того, что использовал в выстраивании счастливого сюжета своей жизни, но и решился вынести на всеобщее обозрение «на левый крылос».

Между этим, тогда еще бессознательным, пророчеством и другой ночью перед Рождеством — в 1844 г. во Франкфурте, а затем и перепиской с Шевыревым на Пасху 1847 г. — феерически промелькнуло единственное десятилетие гоголевского художественного творчества — и оборвалось безысходным молчанием...

## ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТАЯ

### «ПРЕЕМНИКИ ГОГОЛЯ В САМОПОЗНАНИИ»

Непосланное послание Шевченко к Гоголю по своей сокровенной сути является свидетельством существования этих двух поэтов, столь близких по архетипу, в параллельных, т. е. не пересекающихся, мифологических пространствах.

Так уже при жизни Гоголя Тарас Шевченко — культовый поэт Украины, один из главных создателей канона украинской культуры как таковой — в рамках этой, им создаваемой культуры создает и *эталон толковательного канона* для Гоголя.

Согласно этому канону, Гоголь — типично украинский романтик, ибо:

1. Он чтит старинную казацкую „волю“ (в „Тарасе Бульбе“), не веря в возможность ее повторения в том или ином виде в обозримом будущем.
2. Его культурная миссия — очищающий и освобождающий смех.

Но при этом в поэтическом послании Шевченко нет никаких примеров гоголевского смеха. Зато единственным косвенно упомянутым в нем гоголевским произведением является именно «Тарас Бульба». А жестокий поступок Тараса с собственным сыном в этом послании однозначно оправдан. Более того — он уже и до этого послания был оправдан, ибо был повторен в ранней шевченковской поэме «Гайдамаки», где детоубийство, по аналогичной причине, приписано реальному историческому лицу — уманскому полковнику Ивану Гонте, который в реальной истории его отнюдь не совершал...

Как видим, Тарасу Шевченко канонизированный украинский Гоголь, в качестве его «великого друга и брата», был необходим именно для полноты канона рождающейся украинской литературы. Но уже автору первого истинно исторического украинского романа «Черная рада» Пантелеймону Кулишу стало не только тесно, но и весьма неуютно в одном каноне с автором «Тараса Бульбы».

В эпилоге к роману, рассуждая о литературно-исторической компетенции Гоголя, этот его первый биограф и вместе с тем ученик, продолжатель и соперник говорит: «Многие из малороссиян

сожалеют, что Гоголь не продолжал изучать Малороссии и не посвятил себя художественному воспроизведению ее прошедшего и настоящего». Однако, возражает на это Кулиш, во времена Гоголя «не было возможности знать Малороссию больше, нежели он знал. Мало того: не возникло даже и задачи изучить ее с тех сторон, с каких *мы*, преемники Гоголя в самопознании, стремимся уяснить себе ее прошедшую и настоящую жизнь». И хотя повести Гоголя не объяснили прошедшего и настоящего Украины, они, говорит Кулиш, дали побуждение к их объяснению — и в этом он видел главную заслугу своего предшественника.

Конечно, исторический роман Кулиша, издаваемый сначала по-русски с благословения Плетнева, некогда тщетно добивавшегося (вместе с Пушкиным) романа во вкусе Вальтер Скотта от самого Гоголя, был настоящим прорывом, совершенным украинским преемником Гоголя в самопознании. «Черную раду» написал еще 25-летний Кулиш, затем, кстати, служивший личным секретарем Плетнева.

Кулиш прибыл в Петербург 12 ноября 1845 г., а уже 18 ноября в одном из писем Плетнев сообщал: «Кулиш прочитал (...) всю мою критику на „Мертвые души“. Это почти вся моя эстетика. Я стараюсь всю теорию передать Кулишу, чтобы у нас не было разногласия».<sup>67</sup>

Не удивительно, что первые главы романа Кулиша, горячо одобренного Плетневым, в 1845–1846 гг. печатал «Современник».

Но окончательно Кулиш закрепил свой прорыв из романтически-беллетризированной Украины в ее реальную историю тогда, когда написал новый вариант своего романа на *украинском* языке, впервые опубликованный в 1857 г. Это был явный сигнал, понятый всеми, кому он был адресован: отныне украинская литература из стадии экстремального становления на чужом языке переходила в стадию нормального существования на языке своем.

В послесловии к украинскому изданию Кулиш говорит (хотя проверить его утверждение теперь уже невозможно) о существовании украинского оригинала своего романа, предшествовавшего его вольному переводу на русский. При этом Кулиш признавался, что в «русском переводе» смотрел на предмет изображения «как

<sup>67</sup> РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 697.

человек определенной литературной среды» и «оставался писателем установившегося литературного вкуса».<sup>68</sup>

Не ограничиваясь этим признанием, Кулиш на следующей странице послесловия к украинскому изданию уточняет, что речь идет именно о пушкинских (точнее, сформированных Пушкиным) среде и вкусе и что, по его мнению, культурное воссоединение Руси в основном закончилось явлением Пушкина — в то самое время, когда «малороссияне отреклись от природного языка своего и, вместе с просвещением, разливавшимся по империи из двух великих жерл, Москвы и Петербурга, усвоили себе формы и дух языка севернорусского».

«Казалось бы, этим поворотом взаимных племенных влияний, — говорит далее Кулиш, — должно было завершиться развитие литературного языка в России; но на деле вышло, что силы творящего русского духа еще далеко не все пришли в соприкосновение. В то время, когда Пушкин довел русский стих до высочайше степени совершенства, до *nes plus ultra* пластики и гармонии, из глубины степей полтавских является на севере писатель с поверхностным школьным образованием, с неправильною речью, с уклонениями от общепринятых законов литературного языка, явно происходящими от недостаточного знакомства с ним, — является, и поклонники изящного, отчетливого гармонического Пушкина заслушались степных речей его... Что это значит? Это значит, что Пушкин владел еще не всеми сокровищами русского языка, что у Гоголя слышалось русскому уху что-то родное и как бы позабытое от времен детства, что вновь открылся на земле русской источник слова, из которого наши северные писатели давно уже перестали черпать...»

Кулиш был совершенно убежден в том, что северные, т. е. великорусские, писатели обязаны знать украинский язык точно так же, как украинские — русский. Он верил, что достоинства украинского языка «должны усовершенствовать орган русского чувства и русской мысли», т. е. русский язык. Без понимания этой странности Кулиша, его лингвоэстетической утопии, невозможно понять и, собственно, на ней же построенной его утопии политической. Здесь он твердо стоял на стороне Гоголя, который, отстаивая свое право на этническое двоедушие в споре со своими петербургскими порицателями

<sup>68</sup> Куліш, П. Чорна рада. Харків, 1990. С. 159.

во главе с Плетневым, настаивал, что, только «слившись воедино» с Украиной, Россия может «составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Но если великорусская элита перестанет интересоваться Украиной — как же составит нечто совершеннейшее? В этом вопросе, которым вслед за Гоголем задавался Кулиш, наметилась первая, но роковая трещина в его отношениях с Плетневым, о которых впоследствии первый биограф Гоголя говорил даже так: «За его незнание малорусского языка я смотрел на него как на человека, не получившего *вполне русского* литературного образования. За мое пристрастие к украинщине он смотрел на меня как на полуурода».<sup>69</sup>

Интересно, что в июне 1846 г. сам автор «Тараса Бульбы» в высшей степени положительно отзывался о первых главах «Черной рады» (в письме к Н. М. Языкову): «Судя по отрывкам (...) в нем все признаки таланта большой руки, я бы очень хотел иметь сведения о нем самом, об авторе, тем более что о нем почти не говорят. Если Бог сохранит его, то ему предстоит важное место в нашей литературе».

Что до самого Гоголя, то он в своем главном, как ему казалось, произведении, т. е. в «Мертвых душах», невзирая на пресловутых русских мужиков на первой странице, поставил себе цель стать писателем общерусским. Чтобы стать таким писателем в глазах современной читающей публики, ему и понадобилась вторая — откровенно русифицированная — редакция «Тараса Бульбы».

«Только „своей“ в 1-й ред. [„Тараса Бульбы“] виделась Гоголю украинская козацкая вольница — в ее постоянной борьбе со всеми тремя, а то и всеми четырьмя, соседними народами, в ее вольном, анархическом отличии от чужой — жесткой и жестокой — русской самодержавной „вертикали власти“, а во 2-й ред. Запорожская Сечь стала частью Святой Православной Руси — в ее вечном противостоянии чуждым, „неверным“ Западу и Востоку».<sup>70</sup>

Такой образ «Общеруси» устраивал прежде всего официальную Россию в ее борьбе с украинским «сепаратизмом». Именно в этом стоит поискать причину того, почему Гоголь в России от эпохи

<sup>69</sup> Цит. по кн.: Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2 т. Київ, 2007. Т. 1. С. 47.

<sup>70</sup> Денисов, В. Мир автора и миры его героев (о раннем творчестве Н. В. Гоголя). СПб., 2006. С. 74.



Николая I до наших дней является писателем суперофициозным, а Кулиш (не только исторически точная «Черная рада», но и скопом всё его творчество, а в советской Украине и само его имя) вплоть до конца 1980-х гг. оказался под запретом, хотя и всплыл на поверхность на короткий период большевистской украинизации 1920-х гг., обернувшейся трагедией украинского Расстрелянного Возрождения.

Без понимания взглядов Кулиша на прошлое и будущее Украины (как бы кто к ним ни относился) непонятны и те его взгляды, которые он стремился внушить и закрепить в гоголеведении, потому что это *те же* самые взгляды. Это хорошо видно из письма Кулиша Шенроку от 16 января 1887 г., впервые опубликованного Н. Е. Крутиковой в 1992 г. «Что касается „Тараса Бульбы“, — писал Кулиш Шенроку, — то *второе*, исправленное и дополненное издание этой мнимо исторической повести еще больше первого грешит против естественности общечеловеческих отношений, действительности былой польско-русской жизни и возможности такой нации, какую представлена Гоголем Польша в борьбе с козаками. Историческая повесть-поэма Гоголя писана в то время, когда уже была издана „Капитанская дочка“. (...) Но Гоголь стоял на точке зрения разрушителей культуры, а Пушкин смотрел на пугачевский бунт глазами ее создателей. Один потратил силу творчества на возведение грубой толпы в достоинство героев чести, веры, патриотизма, и всего слабее оказался в сценах невозможного козацкого романа среди польских аристократов. Другой, соблюдая во всем художественную меру, особенно высок и трогателен там, где Гомер украинской козаччины является несостоятельным. Гоголь происходил от козаков; Пушкин — от козацких противников. Козацкий потомок был преисполнен веры в то, что существовало только в воображении фанатиков да в сердце беспощадных обманщиков массы. Потомок московского боярства основывал свое изучение эпохи на точных, самостоятельно штудированных документах, которые обнаруживали для него всякий вымысел, как обнаруживает его сама действительность».<sup>71</sup>

От Плетнева, присутствовавшего при самом рождении книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» и исполнившего роль их «повивальной бабки», Кулиш вынес стойкое и, пожалуй, несколько гипертрофированное убеждение в том, что малороссийские повести

<sup>71</sup> Цит. по кн.: Крутикова, Н. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 97.

Гоголя есть чисто литературный проект, к подлинной жизни Украины имеющий не больше отношения, чем, например, стихотворные «Мазепы» Байрона и Гюго. Но книги Кулиша о Гоголе опередили свое время и пришлось не ко двору в предреформенную пору воинственного утверждения в обеих литературах — реализма и народности, а Гоголя — как основоположника того и другого.

Характерна в этом смысле речь А. С. Хомякова,<sup>72</sup> произнесенная 26 марта 1859 г. по случаю возобновления заседаний Общества любителей российской словесности. В ней Хомяков особо порицал тех земляков Гоголя (явно имея в виду Кулиша), которые «попрекнули ему в недостатке любви к родине и понимания ее». Они, говорит Хомяков, «не поняли, какая глубина чувства, какое полное поглощение в быте своего народа нужны, чтобы создать и Старосветского помещика, и великолепную Солоху, и Хому Брута с ведьмою-сотничихою, и все картины, в которых так и дышит малороссийская природа, и ту чудную эпопею», т. е. «Тараса Бульбу».

Бульбофобию Кулиша, ясно выраженную в эпилоге к «Черной раде» (а на него-то и возражает Хомяков), критик, явно недостаточно внимательно читавший гоголеведческие книги земляка писателя, ошибочно принял за отрицание Кулишом «хохлацкой души» Гоголя, что уж вовсе было несправедливо.

Гораздо внимательнее читал весь огромный массив написанного Кулишом в 1850-е гг. М. А. Максимович, взявшийся развенчать взгляды Кулиша от лица украинской словесности. Признавая важную заслугу автора «Черной рады» как художника («труду г. Кулиша малороссийская литература обязана первым историческим романом»), Максимович в то же время не принимает его упреков Гоголю. «Я очень знаю, — пишет он, — что романист и не обязан такую строгую покорность к изображаемой им действительности, как историк. Но если уже г. Кулиш вполне воспользовался этою свободою, зачем же говорит он, что в гоголевском дивном создании — мало художественной и исторической истины <...>».<sup>73</sup>

Что такое «художественная истина», вряд ли определил бы и сам Максимович. Наоборот, историческая истина — понятие весьма

<sup>72</sup> Подробнее о ней см.: Янковский, Ю. Патриархально-дворянская утопия: Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов. М., 1981. С. 317–318.

<sup>73</sup> Максимович, М. Собр. соч. Киев, 1876. Т. 1. С. 531, 522.

строгое. В 1860-е годы всё еще продолжавшийся спор Кулиша с Максимовичем об историзме украинских повестей Гоголя свелся к обсуждению этнографических подробностей. И в этом смысле победа в споре, конечно же, осталась за Максимовичем — хотя бы потому, что желание направить дискуссию именно в эту сторону и увести ее от скользких политических вопросов прослеживается с его самых первых откликов на исторические и гоголеведческие труды Кулиша.

Но чем больше в украинском обществе развивалась не просто необходимость в романтическом самодекларировании, но реальная потребность в самопознании, тем более становились востребованы идейная позиция и творческое, в том числе гоголеведческое, наследие П. А. Кулиша. Оно, впрочем, на сегодня еще и в десятой доле не осмыслено и даже не переиздано. Да и преемниками Кулиша в самопознании открыто выступают в основном литературоведы, пишущие в том числе и по-украински, но живущие за пределами Украины.

Так, например, гарвардский профессор Григорий Грабович в своих гоголеведческих работах на первый план выдвигает идею, еще 150 лет тому назад апробированную Кулишом: необходимость отличать в текстах Гоголя **миф** Украины от репрезентованных в них реальных **фактов** украинской истории, и он же предлагает недурной ответ на «вечный» вопрос о том, «какая у Гоголя душа»: «Ни у кого нет права собственности на писателей; они не „принадлежат“ — они вписываются; они не дипломаты или генералы, имеющие право служить только одной стране. Если уж прибегать к аналогиям, то писателей лучше сравнивать с теми святыми, что включаются в календари и каноны враждующих между собою сект. Ибо литература — это не только творчество, но и его восприятие; соответственно история литературы — это прежде всего история ее рецепции. Именно это — т. е. *вопрос канона украинской литературы, ее системности* — определило рамки моего якобы (ибо буквально я никогда этого не думал) „отвоевывания“ Гоголя. Отвоевание же без кавычек произойдет только на пути качества: Гоголь настолько будет наш, насколько качественно мы будем о нем писать».<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Грабович, Г. Гоголь і миф України // Сучасність. 1994. № 9–10.



## ЛЕКЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

### ШИНЕЛЬ, ИЗ КОТОРОЙ «ВСЕ МЫ ВЫШЛИ»: «ГОГОЛЕВСКАЯ ШКОЛА» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

#### 1. ДОСТОЕВСКИЙ, ВЫШЕДШИЙ НЕ СТОЛЬКО ИЗ «ШИНЕЛИ», СКОЛЬКО ИЗ БАРОЧНОГО «ПЛЕТЕНИЯ СЛОВЕС»

Литературная традиция в течение целого столетия приписывала **Федору Михайловичу Достоевскому (1821–1881)** фразу, якобы сказанную им обо всем его поколении «классиков» русской литературы 2-й половины XIX в.: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя».

Эту фразу французский критик 2-й половины XIX в. Эжен Мельхиор де Вогюэ якобы «сам слышал» из уст Достоевского. Правда, в другом случае де Вогюэ говорил, что «сам слышал» ее из уст Тургенева. А современному литературоведу Александру Долинину удалось доказать, что наиболее вероятным автором формулы был Б. М. Маркевич и что Вогюэ, не желая это признать, приписал ее «великому писателю» (т. е. Ф. М. Достоевскому или И. С. Тургеневу) только в 1899 году, когда никого из его петербургских собеседников не осталось в живых.<sup>75</sup>

Но есть смысл поставить вопрос иначе: **почему** так долго и так упорно приписывалась Достоевскому фраза «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя»? Очевидно, ответ на этот вопрос следует поискать в контексте упорного противопоставления «гоголевского» и «пушкинского» направлений русской литературы.

Достоевский безоговорочно причислялся к «гоголевской» школе, тем более что **упоминание** о «Шинели» в самом деле играет большую роль в его ранней повести «**Бедные люди**». Правда, это не просто упоминание, а это сравнение «Шинели» с пушкинским (!) «**Станционным смотрителем**», и в пользу последнего! На это тогда же, в конце XIX века, обратили внимание русские критики (например, Василий Розанов, который решительно относил Достоевского к «пушкинскому» направлению).

<sup>75</sup> Долинин, А. Кто же сказал «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя»? // Русская литература. 2018. № 3. С. 163–170.

В 1922 г. в харьковском журнале «Наука на Украине» появилась статья выдающегося украинского литературоведа **Александра Ивановича Белецкого (1884–1961)** «Достоевский и натуральная школа, 1846 год». Белецкий, в частности, утверждал, что ни учеником, ни прямым последователем Гоголя Достоевский в первой своей повести не являлся, и отмечал «глубокие внешние и внутренние отличия (...) между **лирико-эпическим** стилем Гоголя и **лирико-драматическим** стилем Достоевского». (Идеи Белецкого получили дальнейшее развитие в работах М. М. Бахтина.)

Сам Достоевский всегда настаивал именно на **драматической** форме своего первого произведения и считал это своим открытием, которым он в дальнейшем воспользовался для разработки нового типа прозы и новой формы романа (его М. Бахтин назвал **полифоническим романом**, по аналогии с полифонией — многоголосием — в музыке, например в произведениях И. С. Баха). «**Бедные люди**» — повесть в письмах, где звучат только два голоса: бедного чиновника Макара Девушкина и девушки Вареньки, к которой он ощущает чистое чувство скорее даже родительской любви. «Оба корреспондента, — заметил А. Белецкий, — всё время говорят о своих чувствах и ощущениях, говорят с такой остротой и с таким напряжением, которые мы у Гоголя если и встречаем, то уж никак не у бессловесного Акакия Акакиевича».

Итак, маленький человек уже в первом произведении Достоевского (и это как раз отличало его от «Шинели») получил собственный голос. Это было настолько непривычно для читателей, что они смешивали (и по сей день смешивают) голос героя этого (и не только этого) произведения Достоевского с голосом автора.

Но есть еще одна причина, по которой это происходит: маленький человек становится у Достоевского **героем-идеологом**. И вот в этом он конечно же **продолжает Гоголя**, взвалившего на литературу всю полноту ответственности за **государственную идеологию**, а на «простого человека» — всю полноту ответственности за **выбор идентичности и отстаивание этого выбора от всяческих козней «злых сил»**. И в этой связи в полной мере вступает в силу вся **барочная мифология предшественников**, их знаменитое еще с XVII века «**плетение словес**».

И в этой связи нам придется сказать нечто новое для достоевсковедения, ему может и ненужное, но зафиксируем это «ненужное»

на всякий случай. Я имею в виду **белорусское, украинское и даже «киево-могилянское» происхождение Достоевского** и его знание о нем и передачу им этого знания своим детям — вот точно так же, как в роду Гоголей передавалось знание о предке-гетмане.

Род Достоевских пополнил собою литовскую шляхту еще в начале XVI ст. (6 октября **1506 г.**), когда предок писателя Данило Иванович Иртыщевич получил от пинского князя грамоту на владенье белорусским селом Достоевом. Петр Достоевский, его потомок, в **1598 г.** был избран в сейм, занимал должности маршала Пинского уезда и члена Главного трибунала Великого княжества Литовского.

Шляхтичи Достоевские, твердо стоя на канонах православия (родовая черта, достойная нашего внимания), Брестской унии **1596 г.** не приняли. И, как следствие, были вытеснены из полонизированной литовско-белорусской шляхты в духовное сословие. (То же самое, по версии Афанасия Демьяновича Гоголя-Яновского, произошло в то же самое время с родом Гоголей.)

Далее мы уже видим Достоевских в Украине. Так, в XVII ст. иеромонахом Киево-Печерской лавры был никто иной, как Акиндий Достоевский.

«Когда мои предки покинули темные леса и топкие болота Литвы, — писала Любовь Федоровна Достоевская, — они были, вероятно, ослеплены светом, цветами и эллинистической поэзией Украины; их душа была согрета южным солнцем и вылилась в стихи».

Любовь Достоевская из семейных легенд знала, что один из ее предков (может и сам иеромонах Акиндий) был **украинским поэтом XVII ст.**, автором «буколической поэмы», к сожалению не сохранившейся.

В XVIII в. история Достоевских связана с Брацлавом на Подолье, где они были священниками. Дед писателя, о. Андрей Достоевский, дослужился до брацлавского протоиерея. В начале XIX ст. отец писателя, Михаил Андреевич, окончил Подольскую семинарию, однако решил продолжить образование в Московской медико-хирургической академии.

«Мой дед Михаил, — писала Любовь Достоевская, — вынес немного этой украинской поэзии в бедной котомке странствующего ученика, покинувшего отчий дом, и хранил эту поэзию в глубине души, как милое воспоминание о далекой отчизне. Позже он передал этот дар обоим своим старшим сыновьям — Михаилу и Федору».

Сам же автор «Преступления и наказания» прекрасно знал историю своего рода, как и историю Великого княжества Литовского. Напр., фамилия одного из важных персонажей романа — Свидригайлов — ни в коем разе не случайна.

**Свидригайло Ольгердович**, младший брат польского короля Ягайла, всю жизнь боролся за титул великого князя литовского с носителем этого титула Витовтом, дважды был отправлен Витовтом в кандалах в Краков, где дважды был помилован своим братом. Лишь под самый конец жизни Свидригайло формально побыл великим князем литовским (в 1432–1440 гг.), ради чего втянул всю тогдашнюю Литву (т. е., кроме современной Литвы, еще и Беларусь с Украиной) в затяжную гражданскую войну. Считался защитником православия и при этом сжег заживо на костре в Витебске митрополита Киевского и всея Руси Герасима из-за подозрения в измене.

Что же общего у Свидригайлова с Свидригайлом? Очень важные черты, а именно: неопределенная идентичность и вечная борьба за ее определенность; широкое понимание своих прав и территорий; склонность выводить свои права и священные заповеди **из летописей**:

— У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, Авдотья Романовна: разве кто как-нибудь себе по книгам составит... али **из летописей** что-нибудь выведет, — просвещает Свидригайлов Дуню, ставшую для него неизлечимой страстью, болезнью — т. е. таким точно предметом иррациональных желаний, как для Свидригайла восстановление Великого княжества Литовского, включая всю Украину и Беларусь, или для Путина восстановление СССР.

Но СССР (союз советских социалистических республик) не выведешь **из летописей**. СССР или Речь Посполита даже в своих названиях не имели географической привязки, которая помешала бы польскому королю в начале XVII в. включить в состав своего королевства Россию (что, как мы видели ранее, уже почти и было сделано), а правительству в московском кремле в XX в. — любую республику (хоть в Африке, хоть в Океании), которая вдруг решила бы стать «советской социалистической» из одного лишь пролетарского интернационалистического желания «без России, без Латвий жить единым человеческим общежитием» (Владимир Маяковский).



Однако пролетарский интернационализм благополучно скончался еще в XX веке. В то время как миф о трех братских народах и их «общем крестителе», будучи наследием барочной эпохи «плетения словес», идеологическим обоснованием Российской империи, пережил идеологическое обоснование СССР.

Почему же?

Во-первых, потому, что указывал цели не земные, а небесные, в уповании на особую спасительность православия.

Во-вторых, потому, что развивался и поддерживался в литературе XIX века — «золотого», «классического» для русской культуры. И в этом смысле Достоевский конечно же «вышел» из Гоголя, но только не из «Шинели», а из «Выбранных мест из переписки с друзьями», в которых продолжатель (и по форме, и по существу) полемических писем деятелей украинского барокко уже не ограничивался только **русско-украинско-белорусским православным единством**. Он это единство понимает шире, выводит из Византии, а последнюю — из чистого, незамутненного «западными» («римскими») влияниями греческого источника.

Посему поддержку «русской идее» Гоголь ищет... у автора «Одиссеи». Ибо, по мысли Гоголя, перевод Жуковского, как раз готовящийся к изданию, — очень своевременная книга: «на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства Одиссея подействует»; после чтения Гомера обратят они свои взоры на русских мужиков, и тогда «многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли».

Но кто сказал, что есть «сродство»? Оказывается, это сказал французский путешественник маркиз де Кюстин, на которого Гоголь ссылается в другом выбранном месте из переписки: «беловласые старцы, сидящие у порогов изб своих» маркизу казались «величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому».

Так был изготовлен — с явным использованием трафарета книги «О Германии» мадам де Сталь — очередной мираж французского романтизма,<sup>76</sup> тут же подхваченный русско-украинским романтиком

<sup>76</sup> Voir : Carré, J.-M. Les Écrivains français et le mirage allemand. 1800–1940. Paris, 1947.

Гоголем. Вот теперь, по этому трафарету, можно выводить «русскую идею» хоть из Гомера, а хоть и из летописей.

Что же именно **выводили из летописей** все эти Свидригайловы в середине XIX века? Да приблизительно то же самое, что и ныне им подобные **выводят из Достоевского**:

«Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговарили с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина. Еще вы меня именно этой широкостью укоряли. Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он (...) свое обдумывал» (**он** — это Раскольников, «идейный» убийца, родной брат Дуни)

Но почему же **особенно священных заповедей нет**? Да всё из-за тех же европейских влияний — европейских ценностей. «Это что за ценности такие западные, которые вбивались в голову украинскому народу?» (*Министр РФ Лавров на пресс-конференции 10.03.2022*). Это логика «достоевская»: ценности западными быть не могут.

Сам автор «Преступления и наказания» сделал всё для того, чтобы в правление Александра III (до которого он месяц не дожил) **ценности такие западные** (напр., гласность и свобода печати на любом языке, особенно на украинском) более не **вбивались в голову** населению империи, а, напротив, жестоко преследовались. Не надеясь на Александра II (царя-освободителя, царя-демократа — насколько вообще возможно такое словосочетание), он писал наследнику престола, будущему Александру III: «Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими».

Но тогда логично было бы спросить: «А чем хорошо быть русскими?» Чем хорош «византийский проект», вновь воскрешенный в лабораториях российской идеологии накануне русско-украинской войны 2014 г.? Выдвигая этот проект на всеобщее рассмотрение — выводя, так сказать, в светлое поле сознания — московский политолог А. Н. Окара откровенно говорил: «Вот я и хотел понять, какие

у нас есть проектные ресурсы (...) в условиях всеобщего финансово-организационно-экономического кризиса, в условиях общемировой турбулентности. Можем ли мы, во-первых, создать собственную модель развития после Модерна и, во-вторых, предложить что-то человечеству? Что-то такое, чего у него нет без нас». <sup>77</sup>

Зато теперь мы точно знаем, что именно они могут предложить: зверское уничтожение населения целых городов и надпись на руинах рукою бывшего школьного отличника, помнящего наизусть «Тараса Бульбу»: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Ну так и вы ж не помогли. Мягко говоря...

## 2. ТУРГЕНЕВ И МАРКО ВОВЧОК

Еще один бесспорный «классик», но и бесспорный же антагонист Достоевского «чистый западник» **Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)**, которому де Вогюэ тоже пытался приписать фразу про «выход» из «Шинели». Однако, по понятным нам уже теперь причинам, эта попытка успеха не имела: Тургенев и сам себя, и критика его — раз навсегда причислили не к «гоголевской», а к «пушкинской» школе.

«Спасло» ли это его человеческую, мужскую и литературную ипостаси от **украинского влияния**? Нет конечно, и по той же самой причине, как это было у Лермонтова. С той только разницей, что эротическая составляющая этого биографического эпизода у Тургенева продолжения не имела, но зато литературная имела более длительное и масштабное, не лирическое, а эпическое.

В **1852 г.** Тургенев был арестован за статью на смерть Гоголя — всего лишь за то, что посмел назвать Гоголя великим писателем. Месяц просидел под арестом, а затем был сослан в свое имение Спасское-Лутовиново Орловской губернии, без права выезда за пределы губернии. Впоследствии, упоминая об этом эпизоде в своих воспоминаниях о Гоголе, Тургенев замечал: «Но всё к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно **сблизило меня с такими сторонами русского быта,**

<sup>77</sup> Цивилизационные активы и цивилизационные рамки национальной российской политики. Материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. № 6 (15). М., 2009. С. 55.

**которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания».**

Обычно эти тургеневские слова трактуются как указание на еще большее «сближение» автора «Записок охотника» в деревне с крестьянским бытом. Не будем, однако, забывать, что «Записки охотника» уже до ссылки автора были готовы к печати, что крестьянский быт Тургенев, выросший в деревне, досконально знал с детства и что быт этот с тех пор не особо изменился.

Но зато провинциально-усадебный дворянский быт, взаимоотношения в этой среде: отцов и детей, мужчин и женщин — вот это всё как раз изменилось достаточно сильно за те 20 лет, в течение которых Тургенев только наезжал в деревню как гость, но не жил в усадьбе как помещик, не варился в этом провинциальном соку и в местной жизни не участвовал.

Губернский город **Орел** был единственным культурным центром, где Тургенев имел право бывать с **1852-го по 1855 гг.** И этим правом он активно пользовался, присматриваясь, в частности, и к новому поколению провинциально-дворянской молодежи, и к провинциальным властителям их дум.

Среди последних все, кто затем вспоминал Орел конца 40-х и начала 50-х годов XIX века, особо выделяли **«пана Опанаса»**. Так дружески-уважительно называли здесь украинского писателя и фольклориста **Афанасия Васильевича Марковича (1822–1867)**, сосланного из Киева по **«делу о Кирилло-Мефодиевском братстве»**.

**Николай Лесков**, один из орловских юношей того времени, а впоследствии замечательный русский писатель, даже утверждал, что обязан именно **пану Опанасу** всем своим (идейным) **«направлением и страстью к литературе»**.

За год до того, как и Тургенев оказался в ссылке в Орловской губернии, Маркович отбыл свою ссылку и уехал на Родину, оставив по себе для кого-то благодарную, а для кого-то скандальную память. Скандал же состоял собственно в том, что 29-летний борец за права и свободы украинского и всех славянских народов отбыл из Орла не один, а с 18-летней красавицей женой, урожденной орловской дворянкой **Марией Вилинской**.

Именно ей, Машеньке Вилинской, русской девушке, увлеченной Марковичем Украиной и им же обученной украинскому языку,

суждено было стать великой украинской писательницей под всем известным псевдонимом **Марко Вовчок (1833–1907)**. Настолько великой, что когда Тургенев при знакомстве с Т. Г. Шевченко спросил его, какого автора ему следует читать, чтобы поскорее выучить украинский язык (зачем — об этом скажу чуть позже), тот, кивнув на тут же присутствующую Марию Маркович, живо отвечал: **«Марка Вовчка! Он один знает наш язык!»**

Однако знакомство Тургенева с Шевченко, да и с самой писательницей Маркович — Марко Вовчок состоялось лишь через 4 года по окончании орловской ссылки автора «Записок охотника». А в 1-й половине 1850-х годов он не мог не застать в Орле еще свежего скандала: племянница и наследница богатой орловской помещицы Мардовиновой вышла замуж за нищего собирателя фольклора и сбежала с ним для каких-то непонятных и сомнительных дел «в Малороссию»!

Так, во всяком случае, ворчали орловские обыватели.

Но восторженные орловские юноши вроде Лескова отзывались об этом событии совершенно иначе. Видимо, примерно так, как тот же **Николай Семенович Лесков (1831–1895)** вспоминал о «пане Опанасе» и **через 30 лет** после описываемого события: «Афанасий Васильевич сосредоточивал в себе много превосходных душевных качеств, которые влекли к нему сердца чутких к добру людей, приобретали ему любовь и уважение всех, кто узнавал его благороднейшую душу. Литературное образование его было очень обширно, и он обладал умением заинтересовать людей литературой. В общем отношении он принес в Орле пользу многим. Этот-то замечательный молодой человек встретил Марию Александровну Вилинскую, которая, кроме своей несомненной природной даровитости, обладала также и прекрасной наружностью. Афанасий Васильевич полюбил молодую красавицу, и они сочетались браком — девица Вилинская стала г-жою Маркович, из чего потом сделан ее псевдоним Марко Вовчок».

Как видим, Лесков и 30 лет спустя не забыл, да и не мог забыть, о **прекрасной наружности** юной Машеньки Вилинской, в которую был влюблен, как и все поголовно ее орловские ровесники. Среди них несомненно было немало замечательных юношей. Однако Машенька предпочла ссыльного чужака, на 11 лет ее старшего, брак с которым, как она хорошо понимала, сулил ей годы нищеты и борьбы, преследований и скитаний...

Чем не сюжет для романа?

Но, видимо, тогда, в первой половине 1850-х, время для такого романа еще не пришло, да и со всеми помянутыми персонажами Тургенев был пока знаком лишь понаслышке.

В **1857 г.** в Петербурге явилась на свет книга на украинском языке, потрясая всю передовую Россию. Это были **«Народні оповідання Марка Вовчка»**. В **1859 г.** они вышли на русском языке — **в переводе Тургенева**. Вскоре с русского перевода Тургенева осуществил французский перевод его друг **Проспер Мериме** (автор «Кармен»). Марко Вовчок стала европейской знаменитостью. Приехав из-за границы в Петербург в **1859 г.**, Тургенев спешит лично познакомиться с Марко Вовчок. Она, как вспоминал он потом, «служила украшением и средоточием небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге и восторгалась ее произведениями: они приветствовали в них — так же как и в стихах Шевченко — литературное возрождение своего края».

Именно Марко Вовчок познакомила Тургенева с Шевченко, и было решено, что автор «Записок охотника» продолжит переводить на русский язык творения своей новой знакомой и к тому же, несомненно, продолжательницы его традиций. Вот для чего он спрашивал у Шевченко, у кого он должен учиться украинскому языку, и получил достойный ответ: у самого же переводимого им автора! В **1860 г.** Тургеневым был осуществлен перевод «Институтки», новой повести Марко Вовчок.

Тарас Шевченко и Марко Вовчок — именно те самые образы, что требуются Эпохе Реализма.

Первый — в думах и песнях «кобзаря», второй — в бесхитростных рассказах «очевидца» передают ту Правду Народной Жизни, пред которой не устоять либерально настроенным читателям всея Великия и Малыя и Белья Руси. А в предреформенную эпоху 2-й половины 1850-х **практически все настроены либерально** — разочарования и поляризация придут **в результате** реформ.

У Тургенева большие планы популяризации Шевченка и Вовчка внутри страны и экспорта их за границу; ему активно помогает Проспер Мериме.

**Весной и летом 1859 г.** между Тургеневым и Марией Маркович завязывается бойкая и даже несколько двусмысленная переписка. Он горячо рекомендует ей ехать за границу, выстраивает ее загра-

ничный маршрут. В письмах Тургенева ясно выражено увлечение незаурядной молодой женщиной: **«Молодость — действительно прекрасная вещь, — говорит он ей в одном из писем. — Вы это должны по себе знать — Вы молоды. Самая Ваша тоска, Ваша задумчивость, Ваша скука — молоды»**. Мария явно кокетничает своей «тоской», своим поиском очередного мужского авторитета после разочарования в первом муже. В том же году она с сыном Богданом **в сопровождении Тургенева выезжает за границу**, имея намерения наладить творческие и издательские связи. В Берлине, Дрездене, Париже, Риме, Женеве, Лондоне Мария много читает, учит немецкий, у нее оживленная переписка со всей литературной Европой. Тургенев знакомит ее с Львом Толстым и Жюлем Верном. Она встречается с чешскими писателями И. Фричем и Я. Нерудой.

При этом Мария — всеевропейская *femme fatale*, во всех смыслах этого слова. Из-за нее покончил с собой молодой польский химик Владислав Олевинский. В Дрездене 23-летний Александр Пассек страстно увлекся Марией, и та ответила ему взаимностью. Вместе с Александром Мария переехала в Италию, где начала жить с ним в гражданском браке. Но в **1866 г.** у Александра началась скоротечная чахотка и вскоре он умер в возрасте 30 лет.

Нечто подобное повторилось в **1867 г.**, когда Мария вернулась в Петербург и у нее завязался роман с ее троюродным братом — надеждой русской литературной критики **Дмитрием Ивановичем Писаревым (1840–1868)**. Летом они втроем с Богданом отправились на морские купания в Рижском заливе, и там Дмитрий утонул.

Но вернемся к ее наметившемуся, но не состоявшемуся роману с Тургеньевым. Поскольку Тургенев был повинен в знакомстве Марии с Александром Пассеком, мать Александра просила его отговорить «малороссийскую *femme fatale*» от «дурного влияния» на ее сына. Тургенев написал Марии «свирепое письмо», та не ответила, и на этом их личные и даже прямые литературные отношения закончились. Но остались гораздо более интересные «непрямые».

Много думая о судьбе Марии, Тургенев — еще до окончательной ссоры с ней — пытается представить ее себе той самой, совсем еще юной, не знающей жизни орловской девушкой — участницей ее первого скандала с замужеством за «иностранцем» Марковичем.

Намечается **романный сюжет**. Эта новая «тургеньевская девушка» не должна быть похожа ни на кого из своих предшественниц: ни

на Асю, ни на Наталью Ласунскую, ни на Лизу Калитину. Ее «**тоска, задумчивость и скука**» — свидетельство незаурядной, быть может, гениальной натуры.

«**К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем всё это?**» — так будет писать в своем дневнике Елена Стахова, героиня романа «**Накануне**», который будет создан Тургеневым осенью того же самого **1859 г.**, когда Мария начала свой скандальный европейский вояж.

«Я никогда не мог творить из головы, — признавался Тургенев. — Мне, для того чтобы вывести какое-нибудь вымышленное лицо, необходимо избрать себе живого человека, который служил бы мне как бы руководящей нитью...»

В конце **лета 1859 г.** Тургенев назначил было Марии Маркович свидание в Германии, в Остенде. И затем целых два дня (!) писал ей короткую записку из Парижа: во всяком случае, даты **6–8 сентября** проставлены самим Тургеневым. «Бейте меня, ругайте меня, топчите меня ногами, милая Марья Александровна: я безобразный, гнусный человек — я не приеду в Остенде, я прямо скачу в Берлин, а оттуда в Штеттин на пароход — а там в Петербург, в Москву и в деревню — куда мне непременно нужно попасть к 20-му сентября».

Зачем — об этом он ей не пишет, но сам знает зачем: работать над **романом о девушке, скандально вышедшей замуж за иностранца, борца за освобождение славянского народа.**

*Rendez-vous* с повзрослевшим прототипом для будущего *литературного* романа — не нужно, скорее вредно. Свидание с романтической *femme fatale* могло бы повести к развитию всамделишного, житейского романа, но для «слабого» человека, типичного Н. Н. из повести «Ася», каковым в жизни и был автор «Аси», это было б уж и вовсе лишним. Для самореализации *в этом смысле* ему вполне хватало призрака Вечной Возлюбленной Полины Виардо.

Но хорошо ли было бросить страстную молодую женщину в полной соблазнов Европе, куда он сам же ее и завез? Ну что ж, формально ведь у нее есть муж, он даже поехал с ней в Париж (но, скажем к слову, когда у нее завязался роман с Александром Пассеком, сразу же уехал и больше никогда не видался ни с женой, ни с сыном).

Как Тургенев и предполагал, **20 сентября** он был уже в Спасском и к **25 октября** завершил работу над романом «**Накануне**».



Сюжет романа прост до схематизма. Два замечательных, талантливых молодых человека — один скульптор (Шубин), другой ученый-историк (Берсенева) — влюблены в 20-летнюю девушку Елену Стахову. В окружении Елены так мало замечательных людей («**Как жить без любви? а любить некого!**» — думала она), что поначалу она увлеклась Шубиным как представителем «высокого искусства».

Это четко соответствует истории русского общества XIX века, которому до середины этого века искусства, из них же в особенности — литература, «заменяли все». Вспомните пушкинскую Татьяну:

Ей рано нравились романы,

Они ей **заменяли все...**

И, как мы помним, еще и в **середине** XIX века поэт и критик Аполлон Григорьев практически то же самое говорит о самом Пушкине и о русском обществе: «**Пушкин наше всё**».

Но в это же самое время по всей Европе громко заявляет о себе наука. На нее уповают, ее пропагандируют прежде всего сами же деятели искусства (вспомним хоть предисловие Бальзака к «Человеческой комедии»). В строгом соответствии с этой схемой, именно Шубин вводит в дом Стаховых Берсенева. И вот уже тот, уединившись в саду с Еленой (имя, опять-таки, исполнено гомеровско-фаустианского символизма), «принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность... И в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удастся высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполтину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то выросло в нем».

Через несколько часов Шубин поздравляет Берсенева с «победой»:

«— ...ты идеалист, ты веришь... во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... и... между тем...»

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы».

Но не слезы Шубина, не его «слабина» (в конце концов, как «человек искусства» он и должен быть порывисто-впечатлителен) заставляют вдумчивого читателя вынести ему окончательный приговор. А вот эта как бы ненароком сорвавшаяся с его уст фразочка: «...во что бишь ты веришь?..» Сам-то Шубин ни во что не верит — а это значит, что в глазах Елены, которая это поняла, он безнадежен.

Берсенева же на ехидную фразочку отчаявшегося друга-художника не отвечает. Ученому и впрямь трудно вот так сразу сказать, во что он **верит**, ему проще сказать, что он **знает**. А слишком банальный ответ «верю в науку» — на самом деле скользкий и двусмысленный... Таким образом Шубин, сам того не понимая, нашел-таки у своего идеального друга уязвимое место. И по пословице «свято место пусто не бывает» сразу же находится **человек, который верит**.

Все повторяется, и теперь уже Берсенева вводит в дом Стаховых — **Инсарова**. («**Русский человек**, — в скобках замечает Тургенев, — **любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми**». Это он конечно о себе.)

**Инсаров** — молодой разносторонний **болгарский** деятель: и ученый, и писатель, и переводчик, и фольклорист. И всем этим он, конечно же, явно напоминает свой **украинский прототип, пана Опанаса Марковича**. А кстати и в романе Инсаров является в Россию вовсе не из Болгарии, а **из Киева**, где он воспитывался у тетки и учился в гимназии.

При всем том Инсаров — не «чистый художник» и не ученый теоретик. **Он практик**. Этим, собственно, он и нравится Берсеневу. Так и должно быть: наука, которая что-то «точно знает», побуждает людей, склонных к практическому действию, делать из «точных знаний» непреложные выводы и эти выводы применять на практике. Сам же теоретик, добывающий все новые и новые знания, отчасти не успевает, а отчасти и не рискует применять их на практике и испытывать на них в чем не повинном человечестве. Ведь он отдает себе отчет во временности «точных» научных знаний, на смену которым каждый день и каждый час приходят более новые и более точные...

Однако у Инсарова есть «одна, но пламенная страсть» (он даже внешне напоминает лермонтовского юношу-мцыри): вернуться на Родину и всецело посвятить себя ее освобождению. Вот почему все, что он делает, к чему готовится и что изучает, для него не

нуждается в проверке. Там, в Болгарии, враги убили его родителей. Там, «в Болгарии, — говорит он, — последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же: у всех одна цель».

Тут, между прочим, подмечена интересная черта манеры не только выразаться, но и мыслить, присущая всем революционным освободителям: точный социологический портрет всех, кто желает революции («последний мужик, последний нищий и я»), выдается за всеобъемлющий «революционный порыв» всего населения той или иной страны. Вероятно, Тургенев эту формулировку подслушал все же не у болгарских заговорщиков, а у таких великороссов, как анархист Бакунин (прототип Рудина), которые в эмиграции вынашивали планы русской революции, или среди все той же **«небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге»**.

Так что если бы **политик** Инсаров высказывался перед людьми, искушенными в политике, его обязательно спросили бы и о тех слоях населения, которые располагаются **между** верхушкой революционеров-заговорщиков и «последним нищим». Спросили бы о религиозном (на православных и мусульман), этническом (на славяно- и тюркоязычных) и социальном (на богатых и бедных, селян и горожан) расслоении его страны, о настроении каждого «слоя», его судьбе в начинающейся войне; наконец, о роли и об интересах Российской империи, жаждавшей реванша после позорной Крымской кампании и всячески провоцировавшей конфликт на Балканах — руками тех же Инсаровых, которых она беззастенчиво использовала...

Но искушенных политиков не нашлось в доме Стаховых — как их не было и в тогдашнем русском обществе. Однако кто-то же им управлял, ведь не Шубины и Берсенева — сколь ни замечательные, но к этому отнюдь не способные?

На этот резонный вопрос автор романа дает исчерпывающий ответ в письме Елены к Инсарову (уже тогда, когда решительное объяснение между ними состоялось и он уже воспринимает ее не иначе как свою «жену перед Богом и людьми»):

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених... Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате... В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот... Шубин заговорил о театре;

господин Курнатовский объявил и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в искусстве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем искусства. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается».

Несколько месяцев спустя, когда Елена с Инсаровым соберутся навсегда покинуть Россию, Шубин и этого «жениха» Елены поставит на одну доску со всеми отвергнутыми ею «претендентами»: «Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие... Нет, **кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка...**»

Однако именно Курнатовский, по определению самой Елены, больше других похож на Инсарова: он и «железный», и «в искусстве ничего не смыслит».

И хоть все это «иначе» и «не так», как у Инсарова, однако Елена не в состоянии объяснить, как «иначе» и чем «не так».

На самом деле «и тупое и пустое» в Курнатовском отчетливо видно по той простой причине, что, считая себя представителем «благоустроенного государства», этот «честный» чиновник охотно не замечает, что в государстве этом «благоустроены» лишь такие, как он сам. В то время о вопиющей «неблагоустроенности» русского народа не знали, кажется, только те, кто обязан был это знать по долгу службы.

Инсаров тоже готовится стать государственным деятелем — болгарского народа, на тот исторический момент вряд ли более «благоустроенного», нежели русский. «**Жизнь дело грубое**», — как-то сказал он Елене. Эти слова заставили ее глубоко задуматься.

**«Елена не знала, — объясняет нам автор (а Тургенев любит все объяснять), — что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других».**

Роман называется «**Накануне**» просто потому, что повествует о моменте выбора и подготовки Елены Стаховой к той ее последующей жизни, которая оказалась совершенно непохожей на жизнь обыкновенной русской женщины и о которой в романе, собственно, ничего не говорится. Инсаров, пробираясь на Родину кружным путем через Италию (что, кстати, вряд ли соответствовало

действительности: российские власти с удовольствием помогли бы такому борцу с турками без околичностей пересечь границу), умер в Венеции. Но Елена решила не отклоняться от запланированного им маршрута, с гробом мужа морем переправилась в Сербию, чтобы похоронить несостоявшегося героя в славянской земле.

«Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! — пишет она родным. — Но уже мне нет другой Родины, кроме Родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными... А вернуться в Россию — зачем?

**Что делать в России?»**

Так **романтический образ Украины**, сложившийся в **русской литературе 1-й половины XIX в.**, АВТОМАТИЧЕСКИ вызвал к жизни цепь житейских и литературных событий, определивших важный поворот к революционной (а не консервативной, как в случае Достоевского) идеологии **русской литературы 1-й половины XIX в.**:

1. Выбор Марии Вилинской (с последующим рождением Марка Вовчка): ее любовь к представителю **романтического края**, да еще и **борца за его свободу** (хотя, как вскоре оказалось, в житейском смысле Афанасий Маркович не слишком ей подходил).
2. Выбор новой героини Тургенева — героини, делающей свой выбор.

Интересно, что «бумеранг вернулся» **в конце XIX в.**: сюжетная структура, созданная Тургеневым в романе «Накануне», и ценности, в ней воплощенные, отразились и на дальнейшей судьбе **украинской темы в русской литературе**. Что составит тему нашей следующей с ней встречи.



## ЛЕКЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

### «А Я РОДОМ НЕ ТАКА»: НОВОЕ У ЧЕХОВА И ЛЕСКОВА

Вторая половина XIX века — эпоха славянского возрождения. Герои славянского возрождения — тургеневский тип Инсарова.

А как быть конкретно с **украинским возрождением**? Вопрос, как у нас говорят, «на засыпку». Тест для русской интеллигенции, собственно, на интеллигентность.

Возьмем «икону» русской интеллигенции — **Антон Павловича Чехова (1860–1904)**. Вот он в **1894 г.** проездом во **Львове**. Напомню: этот город в ту пору входит в состав Австро-Венгрии, называется Лемберг, и, в отличие от той Украины, что входит в состав Российской империи, **украинская литературная жизнь** тут бьет ключом. Ведь нет прямого запрета, как в России, где украинский язык запрещен специальным царским указом (Эмским) и министерским циркуляром (Валуевским).

Достаточно сказать, что во Львове вскоре выйдут сборники рассказов самого Чехова в переводе **Марии Грушевской (1868–1948)**, жена уже нам известного **Михаила Грушевского**, который Чехова тоже по-своему пропагандировал, резко критикуя его на страницах львовского журнала «**Літературно-науковий вістник**»).

И вот, проведя во Львове целый день (пятницу), путешественники (Чехов и его издатель Суворин) тщательно осмотрели выставку, устроенную к столетию восстания Тадеуша Костюшки и, по замыслу ее организаторов, долженствующую представить не более и не менее как «результаты промышленной и умственной жизни поляков».

Результаты поляков показались Антону Павловичу «ничтожными», зато ему понравились встреченные в Лемберге «необыкновенные жида в лапсердаках и пейзах» (видимо хасиды), а также изданный прихотливо, в стиле модерн, двухтомник (третий том поступит в продажу позднее) **шевченковского «Кобзаря»**, который Чехов и купил недолго думая.

Всю субботу Чехов с Сувориным ехали из Лемберга в Вену, где и провели воскресенье, и оттуда в тот же вечер выехали в сторону

Адриатики и во вторник обосновались в Аббации: так в Австро-Венгрии называли хорватский курорт Опатию.

«Здесь ведь братья славяне!», — разочарованно сообщал Антон Палыч Францу Осиповичу Шехтелю, спеша уехать в Италию и дальше — на южное побережье Франции, которое, замечал он в том же письме, «куда интереснее и роскошнее Аббации и всей этой некультурной братушкинской Молдавии».

Измумительна неполиткорректность одного из писем русского путешественника, где он умудрился обидеть половину населения Центральной Европы: украинцев — тем, что не заметил никого из них, кроме Тараса Шевченко, во Львове — тогдашнем центре украинской литературы и культуры; евреев — тем, что он их там заметил (ср. еще в другом письме того же времени по поводу Львова: «Жидов здесь видимо-невидимо. Говорят по-русски»); поляков — тем, что «результаты их промышленной и умственной жизни за сто лет» оценил как «ничтожные»; хорватов — тем, что, не видя никаких следов их культуры в Опатии (хотя бы таких, как украинской во Львове), обозвал их «некультурными»; наконец, молдаван — тем, что «обозвал» их славянами... В общем, и в этом, как и во всем остальном, Антон Палыч, не востребованный к священной жертве Аполлоном, — почти типичный имперский интеллигент XIX–XXI вв. Нетипичный разве что своею знаменитою деликатностью: все-таки, в отличие от **вполне** типичного имперского интеллигента, он высказал всё это не публично, а в частном письме к точно такому же интеллигенту. В конце концов, мы сами виноваты, что вот так неинтеллигентно читаем чужие письма.

И вот еще что обращает на себя внимание: как сильно за полвека от смерти Инсарова надоело рядовому россиянину (а Чехов в данном случае выступает как рядовой, типичный российский обыватель) сочувствовать «братушкинскому» славянскому возрождению.

«Антон Чехов и имперская/постимперская (колониальная/постколониальная) идентичность» — эта проблема могла бы занять одно из центральных мест в ряду социальных тем чеховедения.

Жизнь в империи — непрерывная смена идентичности, причем не только от поколения к поколению, но зачастую и в пределах одной человеческой жизни. Образы «бывшего Исаака» («**Перекасти-поле**») и «бывшей Сарры» («**Иванов**») — яркие попытки постановки вопроса молодым Чеховым. Полуироничное самоощущение провинциала



(«**я хохол**») властно требовало «выдавливать по капле»... «хохла» и привело к конфликту Чехова с поэтом и журналистом старой, либеральной, тургеневской школы **Алексеем Николаевичем Плещеевым (1825–1893)** по поводу «**украинофила**» в повести «**Именины**» (1888), в котором с «антиколониальных» позиций выступил именно Плещеев: «Вам прежде всего ненавистна фальшь — как в либералах, так и в консерваторах. Это прекрасно; и каждый честный и искренний человек может только сочувствовать Вам в этом. Но в Вашем рассказе Вы смеетесь над **украинофилом, «желающим освободить Малороссию от русского ига**». (...) Украинофила в особенности я бы выкинул. (...) (Мне сдается, что Вы, изображая этого украинофила, имели перед собой Павла Линтварева, который — хотя и без бороды — но все больше молчит и думает... может быть, действительно думает об освобождении Малороссии)».<sup>78</sup>

Чехов, который сам же и «угостил» Плещеева интересным, с его точки зрения, украинским семейством Линтваревых, вытащив его в Украину, в Сумы, как мог перед ним оправдывался: «Украинофил не может служить уликой. Я не имел в виду Павла Линтварева. Христос с Вами! Павел Михайлович умный, скромный и про себя думающий парень, никому не навязывающий своих мыслей. **Украинофильство Линтваревых — это любовь к теплу, к костюму, к языку, к родной земле.** Оно симпатично и трогательно. Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки».

Вот, значит, в каких пределах Антон Палыч позволял **украинофильство: любовь к теплу, к костюму, к языку, к родной земле.** (Это, конечно, не Валуевский циркуляр, но очень близко. Впоследствии «человек в футляре» Беликов оказался радикальнее своего автора, по сути напророчив украинскому языку — в ближайшем будущем человечества — роль новодревнегреческого.)

Через 5 лет после первой публикации повести «Именины», переделывая ее для отдельного издания («Посредник», 1993), Чехов всё же выкинул украинофила, для чего понадобилось в сцене

<sup>78</sup> Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 350.

катания на лодках из четырех лодок оставить три. Полностью выпал нижеследующий текст:

«Вот другой гребец, бородатый, серьезный, всегда нахмуренный; он мало говорит, никогда не улыбается, а всё думает, думает, думает... Он одет в рубаху с шитьем, какое носил гетман Полуботок, и мечтает об освобождении Малороссии из-под русского ига; кто равнодушен к его шитью и мечтам, того он третирует, как рутинера и пошляка».

А теперь попробуем проникнуться возмущением Плещеева, как хранителя традиций либерально-интернационального шестидесятиничества, ироническим изображением персонажа, который, как говорит сам Плещеев, **«может быть, действительно думает об освобождении Малороссии»**.

Проникнуться на самом деле не так уж трудно: достаточно для этого заменить безымянного украинофила — болгарофилом Инсаровым, гетмана Полуботка — царем Асенем, освобождение Малороссии из-под русского ига — освобождением Болгарии из-под турецкого.

Для русского либерального интеллигента старой школы исторические явления такого рода — святыни, над которыми смеяться и в которых копаться категорически запрещено.

И вот теперь у Чехова русские юноши вроде Шубина и Берсенева получают убойный аргумент против такого Инсарова, который хочет девушку у них отбить. Теперь они могут просто его спросить, не скучно ли ему «всё думать, думать, думать» — об одном и том же; вообще не скучно ли всё время **быть украинцем, как и быть всё время русским, болгаринном, евреем и т. д.** — неужто не скучно?

И вопрос этот имел право задать именно такой человек, как Чехов, который в некоторых отношениях всегда чувствовал себя «хохлому», в некоторых — «москвичом», а в некоторых — «провинциалом», но «провинциалом» особенным: южным и немножечко «хохлацким».

Рассказывая об Антоне Павловиче Чехове своим студентам в Мариуполе, не могу всякий раз не подчеркивать: Чехов — наш земляк, поэт Приазовья и Донбасса, входивших в пору его детства и юности в Екатеринославскую губернию. В том числе в эту украинскую губернию (напомню: Екатеринослав теперь называется Днипро) входили крупные азовские порты Мариуполь и Таганрог. Население этих городов говорило либо по-гречески (точнее, на так называемом

румейском диалекте приазовских греков), либо по-украински. И сам Чехов не раз признавался, что язык его детства — украинский.

Российское чеховедение обычно ставит в сослагательное наклонение утверждение об Антоне Павловиче как о «приазовском» писателе — как бы следуя самому Чехову, который заявил в письме на родину, будучи уже тяжело болен туберкулезом: «Надо много писать, между тем материал заметно иссякает. Если бы не бациллы, то поселился бы я в Таганроге года на два-три. И занялся районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Звереве. Это фантастический край! Донецкую степь я люблю и когда-то знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю эти овражки, шахты, Саур-Могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов, и материал этот, чрезвычайно милый и ценный, никому не нужен...»

В письме к Д. В. Григоровичу от 28 марта **1886 г.** 26-летний Чехов объяснял, что, не считая свои ранние рассказы совершенными, старался «не потратить» на них «образов и картин», которые ему «дороги» и которые он, «Бог знает почему, берег и тщательно прятал». Григорович ответил сразу же (2 апреля): «Вы прекрасно сделали, что берегли и не тратились образами и картинами, которые Вам особенно дороги. Выберите из этого запаса то, что Вам ближе к сердцу, обдумайте хорошенько план (архитектурная постройка повести важная вещь) — и летом приступайте с Богом к работе. Если к свойствам Вашего таланта не подходят повесть или роман, пишите мелкие рассказы, но обделывайте их до тонкости. Тургенев одними «Записками охотника» сделал бы себе громкое имя!»<sup>79</sup>

Что же это за **образы и картины**, которые были так дороги молодому писателю? Есть мнение, что это, прежде всего, его детские воспоминания. В пользу этого мнения говорит тот факт, что замыслы повестей «**Огни**», «**Степь**» и других произведений, увидевших свет во второй половине 1880-х годов, были связаны именно с этим кругом воспоминаний писателя.

Кстати, эти замыслы настоятельно потребовали обновить в памяти «дорогие образы и картины», окинуть их новым, профессиональным взором. Поэтому ровно через год после процитированного письма Григоровичу Чехов засобирился в родные степи, где и провел **апрель и май 1887 г.**

<sup>79</sup> Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 281.

Творческие результаты новой встречи Чехова — молодого, но уже вполне профессионального писателя — с его «малой родиной» превзошли все ожидания. «Степные» рассказы полились рекой: «**Казак**», «**Происшествие**», «**Счастье**», «**Перекасти-поле**» и многие другие.

Означало ли обилие рассказов в новой чеховской манере верность предположения Григоровича: «к свойствам Вашего таланта не подходят повесть или роман»? Как будто бы нет, ведь наряду с рассказами медленно, но верно вызревали повести в той же новой манере.

И вот что интересно. Читателей конца XIX века, знавших Гоголя наизусть, «степной» Чехов поражал именно **новизною** своих пейзажей. Даже Левитан ему писал: «〈...〉 ты поразил меня как пейзажист 〈...〉 В рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны».<sup>80</sup>

Нет, это, конечно, не гоголевская **степь полтавская** (точнее — лесостепь). Это новое, в литературе еще невиданное — степи Приазовья, **степь донецкая**, четко очерченный самим писателем квадрат на карте: *Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Звереве*. И, как мы теперь знаем, нам вовсе не следует принимать за чистую монету слова писателя о том, что «в Таганроге нет беллетристов» и что «этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен». Он был нужен прежде всего Чехову.

«Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Все с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты

<sup>80</sup> Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 173.

по хорошей, мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море. Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу (...) Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности.

(«Огни»)

Кстати, мысль о гибели в безвестности здесь покоится на таком солидном историческом основании, как гибель в безвестности победителя Наполеона — Александра I. В отличие от значимого места смерти побежденного (за четыре с половиной года до смерти победителя — побежденный, так же запоминающе красиво, как жил, скончался на далеком, недоступном острове св. Елены) — место смерти Александра I народ вряд ли и запомнил бы, если б не зарифмовал (о великая сила поэзии!):

Всю жизнь прожил в дороге,  
А умер в Таганроге.

А ведь он, всемогущий император, полюбил этот тихий город у тихого, небурного моря, где собирался прожить остаток своих лет — не ведая, что судьба отвела ему остаток не лет, а дней. Хотел тихо гулять в приморском парке, которого тут, впрочем, еще не было. Посему осенью 1825 г. по распоряжению Александра I на

месте Карантина и был разбит этот парк, который позже назвали Елизаветинским, в честь вдовы императора, которая зимовала здесь после смерти мужа, а весной 1826 г., перед своим отъездом, передала парк в распоряжение города, и он был открыт для посещения. Что и говорить, щедрый подарок высочайшей благотворительницы — хотя, если вдуматься, парк этот был ей ни к чему, ибо возвращаться когда-либо в город невеселой своей зимовки вдовствующая императрица вряд ли намеревалась.

Спустя некоторое время, в память о посещении Таганрога императорской четой, в Елизаветинском парке была установлена «императорская беседка», на крыше которой возвышались бюсты покойного императора и его вдовы.

Чехов очень точно характеризует бидермайерский стиль этого памятника архитектуры. Собакевич как раз из тех же 1830-х годов. Добротность деревенского сарайчика и по-помещичьи понятый уют — все было в этом сооружении. Вот только открывающийся вид на бесконечную морскую даль то ли резко контрастировал с этим уютом, то ли напоминал о бренности его, как брэнной оказалась жизнь и слава самого императора: *sic transit gloria mundi*.

Вообще-то эта повесть — «**Огни**» — именно об этом, и весь ее сюжет рассказан повествователем (Ананьевым) из своей собственной жизни именно по принципу «рассказа кстати».

Повесть и до Ананьева — до его «рассказа кстати» — творится на глазах у читателя перед лицом всей человеческой истории, перед лицом вечности. Филистимляне и амалекитяне, таинственные звезды на небе и загадочные огни на земле... И рассказ Ананьева, эта пошловатая его история, ведется тем не менее в том же изначально заданном духе и тоне.

Как это может быть? А потому что Ананьев, точно Гомер, свою эпическую, перевернувшую его жизнь историю пересказывает и заново переживает так же, как он ее прожил, — под аккомпанемент моря. Той самой вечной стихии, перед которой все равны и на которую все с равным ужасом взирают: и Наполеон с острова святой Елены, и победитель его Александр с глинистого берега **Азовского моря**, и Ананьев — с того же самого берега... И всё, что мы как читатели должны сделать, — это не пропустить, не упустить ни одного упоминания **о море**.

Они все очень разные, эти упоминания, как разнятся в разные минуты и часы нашей будничной и небудничной жизни и само море для меня и для Чехова — жителей **Приазовья**.

Вот неумолимо близится к концу затянувшийся вечер с **Кисочкой** за бутылкой сантуринского. Смолкает обычный, пошлый дачный шум. И только слышится **ровный шум моря**.

Наше Азовское море известно своим ровным характером, в особенно бурных проявлениях не замечено, но это не мешает ему биться в ритме мирового океана: ровный шум, биение сердца планеты, обретающейся в бесконечности (или конечности?) вселенной...

Но вот наконец является муж с приятелем, на Кисочку и ее гостя ноль внимания, но все равно ведь надо уходить, и вроде бы совершенно оправдалось раннее предчувствие, «что роману не быть».

Ананьев выходит на дорогу, «но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина. Я только слышу, как **шумит сонное море** и как бьется от сантуринского мое сердце».

И так шум моря по-прежнему с нами... Более того, когда Ананьев, потеряв надежду вернуться в город, возвращается в беседку, где ему несколько часов назад повстречалась Кисочка, то далеко внизу за густыми потемками **тихо и сердито ворчал море**.

Заметим: море все так же тихо, однако рассказчику кажется, что оно сердито. Т. е. сердито, видимо, на него, **«русского человека»**, который то крайнее ничтожество свое сознает, то он кажется сам себе пупом вселенной — и все это каким-то образом уживается в его голове и одно другому не противоречит: «когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли и что весь мир состоит из одного только меня. И сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению...»

Вот и новый Свидригайлов на глазах у нас родился. Но у него все те же старые мысли...

Очень интересно у Ананьева это его доморощенное, провинциальное представление о **национальном своеобразии**, этот его **полуосознанный шовинизм** (ср. вышеприведенное письмо Чехова из-за границы).

В экспозиции рассказа он глядел, как мимо «его» беседки **«чинно прогуливались греческие дети с длинными носами»**, и думал **«в таком роде: вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут»**. И ему **«даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут...»**

Ключевое слово как будто. Куда уж им, греческим детям, до русского человека, который хоть и не знает, для чего живет, зато все у него по-настоящему, ибо он «мастер комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой».

Так выстраивается иерархия народов: русские выше греков, а подножье пирамиды — якуты, у которых, по мнению Ананьева, **«психические движения несложны, просты и азбучны»**. Вряд ли нашему рассказчику пришлось на своем жизненном пути встретить много якутов. Они понадобились для противопоставления «сложных» культур «примитивным».

Согласитесь, что по сравнению с так понятыми Ананьевым неизвестными якутами — известные Буркину хохлушки, у которых **«среднего настроения не бывает»**, просто образчик психологической сложности! Кстати, а какая же культура, по мнению Ананьева, «проще» русской, но «сложнее» греческой? Правильно, **украинская**. Не будем забывать: действие происходит у нас в Приазовье, т. е. в Екатеринославской губернии. **«Я хохол и в детстве не говорил ни на каком языке, кроме хохлацкого»**, — признавался Чехов украинофилу Б. А. Лазаревскому. В «Огнях» о языке чеховского детства (так сказать, материнском языке) заявлено не столь категорично, но по смыслу идентично:

«— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. — Такая жизнь! А, боже мой, боже мой, что же это такое? А, боже мой, боже мой! Точно желая



разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису».

Это конечно же **«хохлацкая королева Заньковецкая, которую Украина нэ забудэ»** — как написал о ней сам Чехов в письме Наталье Линтваревой через несколько дней после личного знакомства с актрисой, состоявшегося через несколько лет после «Огней». Интересно отметить, что и это знакомство тоже было как бы попыткой любви.

«Говорил, — вспоминала впоследствии она сама, — что у меня красивая душа и еще много милого, искреннего, чеховского. Как-то он зашел ко мне, а я была в печали. Ему захотелось развлечь меня, был свободный вечер, и он уговорил пойти к Омону. Пошли. Как только вышли шансонетки, стали разводить ручками и поднимать ножки, мне еще тяжелее стало — я как заплачу... Антон Павлович совсем растерялся, утешает меня, а у самого по лицу слезы текут. Потом, когда мы вышли оттуда и успокоились, он долго издевался над тем, как Заньковецкая с Чеховым пошли развлекаться к Омону и что из этого вышло».

А вышло в общем нечто в духе того, как потом «развлекались» на вечеринке у директора гимназии Варенька Коваленко с Беликовым. По сути — каждый сам по себе, каждый в тяжких раздумьях о собственном одиночестве. Варенька — тяжело, «по-хохлацки»... **«Вам незнакомо такое настроение. Вы не хохол»**, — как писал Чехов в письме к Меньшикову (одному из прототипов Беликова).

Вообще с любовью и браком в мире Чехова одни проблемы. В одной из чеховских Черновых записей — так называемых «Записей на отдельных листах» (см. 17-й том 30-томника, с. 198) — можно прочесть: **«Не женися на богатой — бо выжене с хаты; не женися на убогой — бо не будешь спаты, а женись на вольной воле, на казацкой доле»**.

Комментаторы 30-томника не указали источник цитаты — хотя это, несомненно, **Тарас Шевченко**: начало стихотворения без названия. Источник — книга, которую Чехов купил, будучи проездом во Львове, — «Кобзарь» (сохранилась в фондах личной библиотеки Чехова; о покупке сообщается в письме к Н. Линтваревой 29 сентября 1894 г.). Мотив использован в повести **«Три года» (1895; ср. сборник**

(цикл) стихотворений Шевченко «**Три літа**» 1843–1845), над которой Чехов работал в 1894 г., причем «Записи...» были сохранены для дальнейшего использования и затем вытребованы за границу (письмом к М. П. Чеховой) во время работы над «**Человеком в футляре**», где выписанный шевченковский мотив легко находится и в истории рокового «сватовства» Беликова к «хохлушке».

Повесть «**Огни**», о которой мы поговорили, — это всё-таки еще ученический текст будущего великого писателя. А образ Кисочки — прообраз будущих чеховских «хохлушек». Ученической же повесть является прежде всего в жанровом отношении.

Молодой Чехов — мастер миниатюры, в этом жанре он истинный талант — брат краткости (если «перевернуть» его же собственный афоризм). Краткости учили и требовали юмористические журналы, в которых студент медицинского факультета добывал себе пропитание.

Но это всё позади. Молодой способный врач начал уже неплохо зарабатывать и может подумать о более почтенной беллетристике не только в «приличных и платящих газетах», но и в «толстых», «серьезных», «идейных» журналах. Тем более что есть от них и предложения о сотрудничестве. И он отправляется в отпуск в родные края — собрать нужный ему материал. И не находит ничего лучшего, как рассказать о случившемся с ним отпускном мимолетном романе с подругой гимназического детства.

Однако это нужно сделать таким образом, чтоб вышла **не** миниатюра: тогда это был бы довольно пошлый анекдот (что в чеховской ранней юмористике отнюдь не редкость). Нужно чтоб получилась полновесная «идейная» повесть.

Есть и учитель в этом жанре, в этом переходе от заурядного анекдотца к «идейной» повести. Чехов называл его так: «**Мой любимый писака**», и это был **Николай Семенович Лесков (1831–1895)**. Оба они были постоянными сотрудниками гениально-го, как сейчас бы сказали, менеджера и продюсера юмористики — Николая Александровича Лейкина, издателя петербургского журнала «Осколки». Чехов некоторое время служил собственным московским корреспондентом этого журнала и считался в редакции знатоком московских значных мест. Посему Лесков, любитель таковых, приехав как-то из Питера в Москву, сразу обратился к Чехову. Будучи Вергилием Лескова в аду (или чистилище?) московских борделей,

Чехов с удовольствием позволял Лескову в этой непринужденной обстановке немного поучить себя уму-разуму.

А чему хорошему мог научить Лесков — в литературном смысле? Например — в аспекте развития **традиционной украинской темы и ее нового (к началу 1880-х годов) поворота?**

Прежде всего: только со времен Лескова эта тема превратилась из романтической в реалистическую — в «литературу факта».

И еще: сохранив все приметы традиционной романтической образности, Лесков выделил из украинской темы КИЕВСКУЮ ТЕМУ. И стал по сути первым летописцем Киева XIX в.

«Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в **1849 г.** переехал в Киев», — писал Лесков в мемуарных очерках **1883 г. «Печерские антики»**. Через двадцать лет после переезда в Киев, уже перестав быть киевлянином и став петербуржцем, Лесков пишет о городе на Днепре как о городе удивительных контрастов: «Чудный, странный, невероятный и во многих отношениях невозможный этот живописный златоверхий Киев — сия «мати городов русских». Город непомернейшей дороговизны среди богатейшей природы и плодороднейшего края; город университетский, но содержащий такой низкий уровень общественного образования, что люди, очутившиеся там из Тулы, Орла, Курска или Воронежа, поражаются мудростью общественной жизни и многостороннею неразвитостью местного населения; город на судоходной реке, в центре свеклосахарного производства, но без сколько-нибудь значительного судоходства и почти без всякой торговли; город с сотысячным почти населением, разбросанным на тридцативерстном пространстве, но без всяких дешевых общественных средств сообщения и без воды, — таки буквально без воды над Днепром! Водопроводов, которыми обладает не только плохой из губернских городов Орел, но даже уездный город Муром, в Киеве нет... для Киева это еще «азиатская роскошь», ему нужнее европейские монументы!» (*Биржевые ведомости*, 1869, № 252).

Тут таки Лесков, этот мастер им же самим изобретенного жанра **рассказа кстати**, сообщает анекдот о посещении Киева (31 июля 1857 г.) Александром II. Царь-реформатор спросил городского голову: «Чего городу недостает?» Тот «скорбно» отвечал: «Триумфальной арки, ваше величество!»

Но вернемся в российский губернский город Орел, уже известный нам благодаря нашему непосредственному знакомству с тургеневскими впечатлениями времен его орловской ссылки 1852–1855 гг. И вспомним, что эпизодическим лицом этой биографической картинки был некий восторженный юноша, Николай Лесков. А также восстановим в нашей памяти его отзыв о прототипах Елены и Инсарова: о том, как «превосходные душевные качества» А. В. Марковича «влекли к нему сердца чутких к добру людей, приобретали ему любовь и уважение всех, кто узнавал его благороднейшую душу», включая и самого автора этого отзыва, и М. А. Вилинскую (будущую Маркович и, соответственно, Марко Вовчок), «которая, кроме своей несомненной природной даровитости, обладала также и прекрасной наружностью».

Что же касается самого Никоши Лескова, то первые примерно 19 лет своей жизни — с февраля 1831-го по декабрь 1849-го включительно — от прочей дворянской молодежи Орловщины он отличался довольно мало. Как все учился понемногу, балбесничал понемногу; как все бедные дворяне, потом служил в какой-то местной конторе и, как все, был влюблен в Машеньку Вилинскую.

Но вот затем случился крутой поворот в жизни Лескова: он переехал в Киев. Здесь он жил в семье своего дяди Сергея Петровича Алферьева. Дядя Лескова был профессор и даже (в то время) декан медицинского факультета Киевского университета. Лесков служил в Киевской казенной палате, посещал вольнослушателем лекции в университете, изучал польский язык, свел много интересных знакомств. И тридцать лет спустя, в 1883 году, в цикле очерков «Печерские антики», написанном для журнала «Киевская старина», уже маститый Лесков ностальгировал по интеллектуальному стилю Киева 50-х годов: «⟨...⟩ жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы, молодыми ребятами, бывало проводили целые ночи, слушая того, кто нам казался умнее — кто мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о „чувствах высокого и прекрасного“...».

Лесков один из тех писателей, для которых связь «с почвой и судьбой» имела преимущественное значение. Как все великие, он был «родом из детства» — и, как все они, он *придумал* себе детство.

Об этом в сорок с чем-то лет он написал свою повесть «**Детские годы**» (1874). А в пятьдесят с чем-то лет, начиная повесть «**Печерские антики**», он прямо пишет:

«Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы (*реальные, а не литературные!* — В. З.), а затем в 1849 г. переехал в Киев».

Вот когда будущий писатель по сути раз и навсегда избрал себе метафизическую Родину. Отношения его с этой Родиной складывались драматично, а порою и трагично... Как, впрочем, опять-таки, отношения любого Гения с любой Родиной.

Когда Николай Лесков, подобно автобиографическому герою «Детских годов», в финале своего отрочества устремился в Петербург, он, в отличие от него, оставил в «матери городов русских» не физические, а лишь метафизические руины. В Киеве и под Киевом оставалась его мать и многочисленная родня, разделенная на два враждебных лагеря давними и непрощенными житейскими драмами. Всякий раз, приезжая сюда погостить, Лесков словно возвращался на «родное пепелище». Хоть и не было чуждо Лескову пушкинское чувство любви к нему, всё же он всякий раз ехал сюда со смешанными и смятенными мыслями, а если прямо сказать — без особой охоты... Тем с большей охотой он принимался, если был к тому повод (а Лесков, как было здесь уже сказано, большой мастер «рассказа кстати»), писать о Киеве и киевлянах, Украине, украинцах и особенно — украинках.

Ключевая роль Лескова в эволюции не только украинской темы, но и украинской ветви русской литературы в одном подобна роли Гоголя, а в другом ей противоположна.

**Подобна** в том, что, как Гоголь, Лесков отнюдь не «открыл» украинскую тему: он не был первопроходцем даже в тех ее, сугубо городских, аспектах, где влияние Гоголя не было таким абсолютным, как в фольклорно-деревенских.

**А противоположна** в том, что, в отличие от Гоголя, к которому, не зная или не помня о его предшественниках, безусловно возводили украинскую тему, влияние Лескова в этом смысле и до сих пор мало понято. Между тем оно велико.

Повесть «Детские годы» положила начало активному внедрению в русское культурное сознание образов Киева и **духовного** киевлянина как забытого, но необходимого звена в цепи «всероссийской духовности».

Необходимого, потому что **Другого**, во всем непохожего и потому кажущегося странным. **Другого** — изящного и женственного, отме-

ченного печатью высокого эстетического вкуса. «Русская ступень на небо» — вот что такое для Лескова Киев.

Вспоминая в повести «Детские годы» свой первый взгляд на Киев из-за Днепра (а мы тут же вспоминаем первый взгляд рассказчица-старовера в его же «**Запечатленном ангеле**»), повествователь Меркул Праотцев говорит:

«Кий, Щек и Хорив обладали гораздо более совершенным вкусом, чем основатель Москвы боярин Кучка и закладчики многих других великорусских городов. При самом первом взгляде на Киев делается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это место для перехода с него в высшие обители. Киево-печерская вершина — это русская ступень на небо».

Образ юной киевлянки Харитины Альтанской в «Детских годах» стал знаковым образом современной украинки. Кстати, у Гоголя мы не отыщем ни одного характера украинки-современницы (старушки вроде Пульхерии Ивановны или тетушки Шпоньки не в счет). И хотя **скука — гоголевский украинский мотив**, нарастающий по мере продвижения Меркула от Кролевца через Борзну и Нежин в Киев, — по-гоголевски же сочетается у Лескова со смехом, но в приложении к *женскому* образу получается нечто оригинальное:

— Видите, какая я пустая: жалуясь на скуку и сама смеюсь. Вы, однако, не торопитесь делать заключения, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь с нашей прекрасной малороссийской поэзией (...) то вы увидите, что тут нет необходимости: у нас воспевают такое «лихо», которое «смеется».

В этих словах затронут нерв украинской темы и украинского характера, украинской жизни вообще. По Гоголю нам хорошо известна эта способность украинцев страх жизни побеждать смехом.

Что до Лескова, то он пошел по более узкой тропе российской словесности, а именно киевской. Она вела в иные кущи, в иной четко очерченный и жизненный, и литературный хронотоп, как будто весь уместившийся в замысле Лескова.

Лесков очень вовремя стал вспоминать свои детские, а точнее отроческие и юношеские годы в Киеве: публикация повести в «Ниве» сопровождала репортажи о приезде императора Александра II «в нашу древнюю столицу» на официальное открытие Юго-Западной железной дороги.

Киев, ставший железнодорожным узлом и в этой связи вновь привлекший к себе давно утраченное внимание России и Европы, весьма отличался от того, каким он был лет двадцать тому назад. Но каждый новый район, которым быстро прирастала карта города, еще жил эстетическим и историческим переживанием ландшафта. Хранителем городской эстетики и исторической памяти города выступала литература.

Юность Лескова, описанная в его «киевских» повестях, накрепко связана со Старым Городом и Печерском. В противоположность этим старым местам, красивый европейский город в стиле модерн, быстро выросший за последнюю четверть XIX столетия, называли Новым Строением. А улицы Нового Строения получали имена местных администраторов: Фундуклеевская, Бибиковский бульвар и т. д.

Все эти быстро увековечиваемые местные деятели — для Лескова живые люди. Собственно говоря, только благодаря ему они такими и остались, увековеченные не в быстро сменяемых табличках на домах и не в давно переплавленной бронзе, а на страницах вкусной лесковской прозы.

Впрочем, о грубом солдафоне и самодуре Д. Г. Бибикове ничего хорошего Лесков сказать не мог. Ему посвящены, например, очерки «Маленькие шалости крупного человека» (1877) и «Бибиковский «меры»» (1888) — оба о том, каким «воспитателем молодежи» был киевский генерал-губернатор и как он «попечительствовал» университетом и гимназиями.

«Воспитательные методы» Д. Г. Бибикова были просты и патриархальны. Провинившегося студента для короткой беседы приглашали в губернаторский дворец в Липках, откуда он уже выходил под конвоем двух жандармов, препровождавших его во флигель, где провинившегося ждала примерная порка. Поскольку быть выпоротым считалось очень стыдно, студенты ни родным, ни друг другу не признавались в том, какие именно «воспитательные меры» применяло к ним высокое начальство. Так, один студент (родственник Лескова) на вопрос: «Что ты делал у Бибикова?» отвечал, что он «выкурил у Бибикова папироску».

«Окончился год; молодого человека, покудившего у Бибикова папироску, перевели на второй курс; стало время студентам разъезжаться на каникулы. Веселые товарищи опять собрались на прощанье покутить за Днепром в трактире Рязанова». Бибиковский

визитер был там же «и, охмелевши, заснул на диване. А в это время у его товарищей вышло недоразумение с прислугою. Стали шуметь и кричать, что кого-то «надо бить».

При слове «бить» спавший мгновенно пробудился, вскочил и заговорил:

— Бога ради! Бога ради! Господа!.. Не надо бить, а то меня Бибиков *опять выпорот!*

«Куритель после каникул в университет более не возвращался», — заключает Лесков. И не знаешь, чему больше поражаться в этом рассказе: жестокости властей или ныне забытым чувству стыда и кодексу чести...

Полной противоположностью солдафону Д. Г. Бибикову был гражданский губернатор И. И. Фундуклей — основатель первой в Киеве женской гимназии (Фундуклеевской), меценат и любитель древностей, а к тому же, как писал о нем Лесков в очерке **«Умершее сословие. (Из юношеских воспоминаний)» (1888)**, «человек застенчивый и скромный».

Каждый вечер в седьмом часу Фундуклей совершал прописанный врачами «моцион для выпотнения лишая»: «покрывал стеганым набрюшником пораженное лишаем место, надевал на себя длинное ватное пальто (...) брал зонтик и шел гулять с своею любимую пегою левреткою (...) Чтобы выпотнение шло сильнее, губернатор делал свои прогулки не по ровной местности, в верхней плоскости города, где стоит губернаторский дом «на Липках», а, спускаясь вниз по Институтской горе, шел Крещатином и потом опять поднимался в Липки, по крутой Лютеранской горе». Т. е. губернатор спускался по Институтской улице, затем проходил до конца весь Крещатик и через Бессарабку (которой тогда еще не было) доходил до Шелковичной улицы и по ней поднимался в Липки. «А так как губернаторам в то время днем среди толпы гулять было неудобно, потому что все будут кланяться и надо будет откланиваться, а Фундуклей был человек застенчивый и скромный, то он делал свою гигиеническую прогулку (...) вечером, когда — думалось ему — его не всякий узнает, для чего он еще тщательно закрывался зонтиком». Киевляне его, конечно, узнавали — но, «по любви к этому тихому человеку, давали ему честь и место», т. е. делали вид, что не узнавали.

Раз на грех Фундуклею встретился на его пути отставной орловский губернатор князь Трубецкой, прибывший в Киев инкогнито.



«Фундуклей шел, понунив голову и закрывая лицо распущенным без надобности зонтиком, а Трубецкой «пер» своей гордой растопыркой, задрал лицо кверху. Они столкнулись. Трубецкой получил легкое прикосновение к локтю, но сам вышиб этим локтем у Фундуклея зонтик и шнурок, на котором шла собачка.

Грузный Иван Иванович ничего не сказал и стал делать очень тяжелое для него усилие, чтобы поймать и поднять покотившийся зонтик, а в это время от него побежала его собачка, шнурок которой ему было еще труднее схватить, чем зонтик.

Трубецкой же рассердился, затоптал и закричал:

— Знаешь ли, кто я? Знаешь ли, кто я?

— Не знаю, — отвечал Фундуклей.

— Я губернатор!

— Ну так что же делать, — рассеянно произнес Иван Иванович, — я и сам тоже губернатор!

В это время на небе блеснула луна, и случившийся на улице квартальный, узнав Фундуклея, поймал и подвел к нему на шнурке его собачку.

Тут Трубецкой воочию убедился, что перед ним в самом деле, должно быть, губернатор, и поспешил возвратиться в свою гостиницу в гневе и досаде...»

Уж полтора столетия нет на свете ни Д. Г. Бибикова, ни И. И. Фундуклея, и не так уж велики были их дела, чтобы помнить их так долго. А вот поди ж ты, выжили они на лесковских страницах, отучая нас от того, что современник Лескова Щедрин называл «начальстволюбием», и приучая, взамен того, к простому человеколюбию...

Но, конечно, не градоначальники (как бы усиленно они ни карабкались по крутым киевским горам) создали в воображении Лескова образ Киева в качестве «русской ступени на небо». В Киеве середины XIX столетия хватало и людей, и даже целых сословий и наций более высоких устремлений. Все они имеют своих представителей в повести «Детские годы».

Смело по тем временам показаны киевские поляки. Некоторая шаржированность образов Пенькновского и его родни — дань официальному стереотипу того времени. Но то, что открывается за стереотипом, потрясает воображение. Революционные порывы киевских поляков, их нескрываемая радость при слухах о революции

в Венгрии и готовность хоть сейчас отправляться на поля битвы вызывают у героя и его умной матери если не сочувствие, то, во всяком случае, «бесконечную снисходительность». Впрочем, такое же чувство вызывают у них даже поступки некоторых несимпатичных представителей угнетенного народа. Тут у Лескова своя теория, своя «имагология». Оказывается, всё «жалкое» в польских характерах происходит, как учит повествователя его умная мать, от **«потери национальной самостоятельности»**, влекущей за собою **«и потерю лучших духовных доблестей»**. Остается лишь тоска по ним — духовная тоска, несомненный признак славного прошлого и некоторая надежда на будущее.

Вообще же своим превращением в «европейский город» Киев, вопреки до сих пор распространенному стереотипу, обязан не польским аристократам, а немецким колонистам, которые, по замыслу их соотечественницы Екатерины II, и должны были «европеизировать» Украину. Вызванные сюда во множестве в Екатерининскую эпоху, они продолжали массово прибывать еще до середины XIX века. Как справедливо писал в 1917 г. историк Киева К. В. Шероцкий, «немцы, поселившиеся в Киеве, создали целую эпоху в развитии этого города: они основали здесь аптеки, фабрики, были первыми профессорами в университете, актерами, типографами, архитекторами, администраторами».<sup>81</sup>

Место для киевской немецкой слободы — та самая вышепоманутая горка, потому-то и названная тогда Лютеранской, — определилось естественным образом. Ниже холмов Старого Города был заболоченный Крещатый яр, над которым опять вставали пустынные холмы. Их и облюбовала немецкая община, большинство членов которой были протестантского (лютеранского) вероисповедания. Кирха, спроектированная киевскими немцами — архитекторами И. В. Штромом и П. И. Шлейфером, — выросла за два года (1855–1857). Первое крещение в новой кирхе пастор Граль совершил над сыном полковника Ливена — будущим российским министром народного просвещения.

Мать юного Меркула Праотцева, от имени которого ведет Лесков повествование в «Детских годах», была чистокровной немкой, крещенной в лютеранстве. И хотя она читала Библию по-немецки

<sup>81</sup> Шероцкий, К. Киев. Путеводитель. К., 1917. С. 352.

и пела «немецкие» псалмы, но в новую кирху на Лютеранской улице не ходила, ибо ради сына приняла православие. Однако недаром она всю свою жизнь состояла в переписке с немецким художником и архитектором Филиппом Кольбергом — загадочным судьей всего происходящего в повести, воочию явленного повествователю и читателям лишь в ее финале.

— Вы разве не знаете, что всё, что делается с людьми, которые имеют счастье пользоваться каким-нибудь вниманием вашей татап, должно быть во всех подробностях известно какому-то господину Филиппу Кольбергу? — говорит Меркулу Христя Альтанская.

Сама же Христя, будучи воспитанницей Каролины (Катерины Васильевны) Праотцевой (не намек ли на «екатерининские преобразования» и не отзвук ли киевского ажиотажа по поводу строительства Екатерининской кирхи?), по характеру и темпераменту остается всё той же чувствительной, нежной и страстной украинкой. «Закрыв глаза», она бросается в омут своей роковой любви. «Закрыв глаза» — «не ладонями, а пульсами рук, как это делают, плача, простонародные малороссийские девушки», — она, по сути, отвергает «этику абсолюта», проповедуемую Праотцевой:

— Людям, пока они живы, тяжело с ангелами.

И вот уже срывается на украинизмы — а затем и вовсе переходит на язык украинской песни, ибо только этот язык по-настоящему говорит ее сердцу:

— А я родом не така! Да, я не такая, я этого не могу: я оторвала от сердца всё, что могла оторвать; а что не могу, так не могу... Полно же; слышите вы: годи нам журитися — пусть лихо смеется!..

Персонажи-украинцы — частые гости лесковских страниц. В изображении таких персонажей Лесков, как и во многих других аспектах своей прозы, был истинным новатором. За ним следовали русские писатели следующего поколения — пример Чехова особенно нагляден: достаточно сравнить Кисочку в его «Огнях» с Христей в «Детских годах».

Но в некоторых отношениях тот же Чехов за Лесковым не пошел: например, не стал перенасыщать свои русские тексты украинской лексикой и фразеологией.<sup>82</sup> Ведь такая перенасыщенность, с одной

<sup>82</sup> Впечатляющую картину и систему этой «насыщенности» одного из лесковских текстов дает новая интересная работа молодого ученого из Черновцов: Дзык, Р. Украинская лексика в «Печерских антиках» Николая Лескова // Н. С. Лесков

стороны — от автора, требует досконального знания украинского языка, а с другой — от читателя, комментатора, исследователя — не только того же самого, но и понимания иерархии и системы лесковских украинизмов.

Здесь позволю себе личное воспоминание. В начале 1980-х широко отмечалось 150-летие со дня рождения Лескова. В Киеве тоже устроили конференцию, а я был аспирантом, меня отправили встречать на вокзал гостя не просто почетного, но и возраста весьма почтенного, ветерана лесковедения **Соломона Абрамовича Рейсера (1905–1989)**. Коренной киевлянин, полвека живший в Питере, тут же стал мне рассказывать байки из жизни улиц близ гостиницы общества «Знание», где мы его в Киеве поселили, — кварталов Нового Строения конца XIX в. за университетским ботаническим садом («Вон в том доме жил Иероним Ясинский, модного Костю Фофанова в ботсад гулять водил, того окружали гимназистки и курсистки, а он, вспоминал Ясинский, всё выбирал среди них, на ком бы ему жениться...» и т. д.).

— Ну а вы, молодой человек, чем в своей аспирантуре занимаетесь?

— Да вот, чемоданчики подношу, — съерничал я.

— Это вы напрасно, — серьезно ответил Рейсер. — А вот займитесь-ка лучше русско-украинскими литературными связями. Ныне вы точно так же, как полвека тому назад ваш покорный слуга, оказались в нужном месте в нужное время. Мне тоже было чуть за 20 — а вот возьмите-ка прочтите в библиотеке мою статью тех лет (он написал по памяти выходные данные на каком-то подвернувшемся под руку клочке бумаги и торжественно вручил его мне). А теперь опять входят в моду эти самые «связи». А почему? А потому что добрую половину академических изданий русских классиков (вот как Лескова, которого мы сейчас готовим) без знания этих «связей» просто невозможно осуществить.

Я недавно перечитал эту статью, опубликованную Рейсером, когда ему было 22 года, и только теперь в полной мере оценил ее новаторство и ее необходимость для корректного чтения лесковских так называемых «украинизмов». В этой статье молодой исследователь смело вводит новый, свой собственный термин —

---

и традиция русского романа в мировом контексте / Ed. Ivo Pospíšil. Brno, 2020. С. 39–65.

**характеризующая лексика:** «Под ней в отличие от «автолексики» я понимаю ту лексику, которую употребляет автор для того, чтобы охарактеризовать тот или иной персонаж, его язык, отдельные моменты в действии и проч., но в основной лексический авторский багаж она не входит». <sup>83</sup>

В начале повести «Детские годы» Меркул Праотцев предупреждает читателя о том, что Киев «в течение десяти лет кряду» был его «житейскою школою». Биографы Лескова прекрасно знают: это он о самом себе говорит. Знают и прототипов каждого из его киевских героев.

Позже, в «Печерских антиках», Лесков расскажет о том, как в киевском Царском саду он дополнял эту «житейскую школу» школой философской, «целые ночи слушая того, кто нам казался умнее (*курсив мой. — В. З.*) — кто (...) мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного»...». И пусть все эти кантианцы и гегельянцы только «казались» (теперь, видимо, уже не кажутся) умнее. Пусть даже беседы о «чувствах высокого и прекрасного» не помогли конкретной Христе — ну не далась ей «высокая» европеизация!.. Не тем важен тогдашний Киев — каким он действительно был и каким он точно, в *подробностях* (в них вся сила Лескова), нам изображен.

А важен он той быстротой и наглядностью, с какой — прямо на глазах Лескова, его современников и его читателей — складывался, сплавлялся из многообразных культурных, ментальных компонентов. Красавец Киев, город-европеец, каким он стал уже к концу XIX столетия, достойный партнер пушкинской Одессы, где **«все Европой дышит, веет»**, быстро и как бы спонтанно вырос на холмах и болотах, которых тысячелетняя история, замкнутая в пределах Старого Города, Подола и отдаленной Лавры, почти не коснулась. Ныне мы даже не подозреваем, насколько *диалогично* и даже *драматично* проходила тогда взаимная адаптация, «притирка» всех его ментальных компонентов. Здесь я коснулся их слегка. На самом деле такие повести, как «Детские годы» Лескова, нам, украинцам, еще разбирать и разбирать, переживать и переживать, примерять к себе — и примирять с собой, своими возможностями и невозможностями в мечте о европейском идеале и о какой-то неясно-новой, иной и уж, конечно, европейской жизни...

<sup>83</sup> Рейсер, С. Лесков та українська культура // Записки історично-філологічного відділу УАН. 1927. Кн. XV. С. 204.



## ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЦАТАЯ

### «ВЛЕЧЕНЬЕ, РОД НЕДУГА»

На рубеже XIX века и XX невозможно обойти вниманием одного из величайших писателей той эпохи, оказавшего самое разнообразное и противоречивое влияние не только в России, но и во всем мире. Этот писатель, **М. Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868–1936)**, незадолго перед смертью (в 1933 г.) признался (смущенно прикрывшись цитатой из «Горя от ума» А. С. Грибоедова): «Я питал «влечение, род недуга» к литературе Украины. Очень хотелось издать Гулака-Артемовского, Основьяненку, Котляревского».

Впрочем, однажды он сам вроде бы не захотел стать частью повседневного чтения украинского пролетариата на украинском языке. Вот как это было.

Олекса Слисаренко, в 20-е годы весьма известный украинский писатель и редактор издательства «Книгоспілка», прислал Горькому для ознакомления сокращенный украинский текст его повести «Мать», уже готовый к изданию (перевод Вараввы-Кобца). Ответ был такой:

«Уважаемый Алексей Алексеевич, я категорически против сокращения повести «Мать», мне кажется, что и перевод этой повести на украинское наречие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие наречий — стремятся сделать наречие «языком» — но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области данного наречия».

Возмущенный адресат тут же опубликовал этот фрагмент письма «живого классика» в журнале «Вапліте» (1927, № 3, с. 137), и он, конечно, вызвал у большинства читателей «справедливое возмущение», выразить которое в советской прессе уже было невозможно.<sup>84</sup> А в Париже Горькому ответил Владимир Винниченко в издававшемся там еженедельнике «Українські вісті» (19 июля 1928 г.).

<sup>84</sup> Петро Панч. Я був свідком // Літературна Україна, № 19 (4376), 10 травня 1990.

Впрочем, скоро о письме в Харьков осмелились спросить самого Горького, и его ответ некоторыми советскими изданиями был опубликован и даже дошел до Винниченко, записавшего в своем дневнике 3 сентября 1928 г.: «Горький ответил на вопрос об украинском языке. Он — не филолог, так что... Быстро он хвост поджал, но только отчего же вопрошающие не уточнили, по какой причине он отказался от перевода своих вещей. Друга Ленина, очевидно, нельзя было спрашивать».<sup>85</sup>

Однако украинские переводы произведений Горького продолжали выходить, что дало основание советским украинским литераторам и горьковедом утверждать, что в принципе Горький ничего не запрещал, но поскольку он сам хорошо владел украинским языком, то, значит (?), перевод был плохой и Горькому не понравился. Хотя из письма Горького к Слисаренко вовсе не следует, что Горький этот перевод читал. Чтобы заметить сокращения в своем собственном тексте, его вовсе не нужно перечитывать, — а кроме этого никаких конкретных претензий к рукописи, подготовленной к печати, в его письме просто нет.

Вот и попробуем разобраться, откуда Горький мог знать украинский язык, и каково на самом деле было его отношение к Украине, и претерпело ли оно существенную эволюцию в течение его долгой литературной жизни.

Горький — писатель, которого русская литература ждала давно, — **большой писатель из народа**. Ведь у русской литературы до той поры еще не было **своего Шевченко** — а все попытки присвоить себе того самого, настоящего Шевченко никогда ни к чему хорошему не приводили, всегда возникало ощущение, что мир Шевченко таинственно близкий русской душе, но при этом чужой и даже враждебный.

А тут писатель почти Шевченковой судьбы. Сирота Алеша Пешков, нищий и бесприютный. С детства бродяжничает, перебиваясь случайными заработками.

Вот плавно движется по Волге пароход «Добрый», куда 12-летнего мальчишку легко приняли на работу «посудником». Горький так вспоминал это свое лето на Волге: «Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то

<sup>85</sup> Винниченко, В. Щоденник, т. 3. Київ etc., 2010. С. 557.



тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи... За пароходом на длинном буксире тянется баржа; она прикрыта по палубе железной клеткой, а в клетке — арестанты, осужденные на поселение и каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового...»

Поваром на «Добром» служил украинец Михаил Антонович Смурый, отставной унтер-офицер, о котором писатель вспоминал как об одном из главных людей в своей жизни: «Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире». Некрасов в сундуке Смурова соседствовал с богословским «Камнем веры», случайный том журнала «Современник» — с «готическими» английскими «романами ужасов» (в плохих переводах), и были даже какие-то **книжки на украинском языке**, с которых и началось **влечение, род недуга**, связавшее на всю жизнь Алексея Пешкова с Украиной и особенно — с украинской литературой.

Когда выпадала свободная минутка, повар просил Алешу почитать ему вслух. Особенно запомнилось чтение гоголевского «Тараса Бульбы», которое произвело огромное впечатление и на слушателя, и на чтеца.

Проходит пять или шесть лет. Идет «по Руси» и уже в уме пишет книгу **«По Руси»** простой парень из народа Леша Пешков. Как всякий бродяга, он стремится на юг, где тепло. И при этом уже испытывает известное нам влечение, род недуга. Ведь от «простого парня из народа» Леша Пешков всё-таки отличается тем, что страшно много прочитал, и все стереотипы русской литературы в голове у него уже сложились. **Развенчание литературных стереотипов** (напр., **украинских гоголевских**) путем сличения их с реальной жизнью — это и есть самое интересное в его странствиях и особенно в их описаниях. И особенно в тех описаниях, которые сделаны по более или менее свежим впечатлениям.

Итак, **29 апреля 1891 г.** Пешков отправился из Нижнего Новгорода странствовать «по Руси». И в том же **1891 г., 15 июля**, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда — в «благодатной Малороссии», у **тім хорошому селі — він бачив пекло.**

А к чему тут цитата из Шевченко? А что же еще мог увидеть такой же **социально угнетенный** человек в **сокращенном Эдеме** (вспомним формулу Кулжинского)? Именно социальная озабоченность Горького роднит его с Шевченко. Именно развенчание стереотипов (а не их неизбежное последующее создание) — сильная сторона того и другого.

Так что же такого чудовищного повидал Леша Пешков **15 июля 1891 г.** в украинской деревне Кандыбовке? Не более и не менее как **развенчание стереотипного женского образа украинско-романтического литературного ареала**. Об этом он написал в коротком и страшном рассказе **«Вывод» (1895)**. И кстати: **«Коротко, сильно и страшно пишет человек»** — это для Горького высшая похвала, и знаете кому она всего единожды была им адресована? Западно-украинскому писателю **Василю Стефанику (1871–1936)**.

Русский читатель еще не привык к таким рассказам, поэтому Горький к «Выводу» пишет краткое послесловие, дабы уже напрочь исключить всяческий символизм, всегда пристегнутый к украинской тематике: напр., символ Правды и надругательства над Правдой: «Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды — нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется — «вывод». Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, и это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда. Я знал, что за измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перьями и так водят по улице. Знал, что иногда затайливые мужья или свекры в летнее время мажут «изменниц» патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи. И вот — видел, что всё это возможно в среде людей безграмотных, бессовестных, одичавших от волчьей жизни в зависти и жадности».

Вот так видит жизнь человек из народа: никаких символических образов и идиллических поселян. Собственно, это и называется **реализм**. Крестьянский писатель Стефаник тоже именно так смотрит на жизнь своего села.

А вот что в украинском селе увидел Горький, кроме литературных стереотипов, которые я позволил себе просто выделить в тексте курсивом.

«По деревенской улице, среди *белых мазанок*, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо, медленно и шумно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темно-русых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Всё тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посилен.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по серой пыли, весь корпус изгибается, и нельзя понять, почему женщина еще держится на этих ногах, сплошь, как и всё ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, висая на руках, не волочится за телегой по теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик, в *белой рубахе*, в *черной смушковой шапке*, из-под которой, перерезывая ему лоб, *свесилась прядь ярко-рыжих волос*; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну... ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..

Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воеет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки... Иногда один из них забегает вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Взрывы смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины. Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча, и вот он захлестнулся под мышкой. Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной. Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собой, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, всё мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

«Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие...»

*А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи...*»

Вот этот предел реализма и потребовал парадоксальным образом немедленного отката к романтизму — и тут снова помогла украинская литература в лице ее конкретных представителей.

Об этом читатели в России и Украине узнали через несколько недель после того, как умер украинский друг Горького — **Михаил Михайлович Коцюбинский (1864–1913)**. Тогда был впервые напечатан его литературный портрет в исполнении Горького, одновременно на русском и (в переводе) украинском языках в (теперь уже!) киевском журнале «Літературно-Науковий Вістник», 1913, т. LXIII, книга 6, квітень — червень. В июле того же года воспоминания появились в журнале «Вестник Европы», СПб, 1913, кн. 7.

«Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его мягкий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявлений человеческого», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы

прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение...

Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо и простодушно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу так же, как и вы, синьор, но — маленькие люди — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих вместо одного, — ведь он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михайлу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична, и это хорошо, знаете! Ведь романтизм наиболее человеческое настроение; мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну да! Но — ведь он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях».

Рассказывая о жизни Коцюбинского у него в гостях на Капри, Горький подчеркивает, что его гость постоянно думает о своей родной Украине и всё ищет романтического сходства итальянцев с украинцами (видеть, обратно, сходство вторых с первыми — это тоже давняя традиция русской литературы в рамках украинской темы).

Часто гостил у Горького на Капри и другой выдающийся украинский писатель, убежденный социал-демократ **Владимир Кириллович Винниченко (1880–1951)**. Но он более, чем завязыванием литературных связей, был озабочен завязыванием политических связей, в том числе с партией большевиков, к которой благоволил в то время Горький. При этом Горький поначалу высоко оценил литературные достоинства прозы Винниченко и рекомендовал к печати

его русские тексты (оригинальные и переводные), но уже первый роман украинского писателя «**Честность с собой**» (Берлин, 1911, на рус. яз.) Горького насторожил. О втором же романе Винниченко «**На весах жизни**» (в украинском переводе Н. Романович — «**Рівновага**»), предложенном автором «горьковскому» издательству «Знание», сам Горький так писал директору издательства В. Миролюбову в сентябре 1911 г.:

«— Так вот за кем мы шли? — скажет русская демократия о революционерах накануне новой революции, в которой они снова хотят работать. Хороша будет революция эта, если во главе ее встанут садисты и мазохисты Винниченка!

— Так вот кого мы боялись, вот они каковы эти строители новой жизни? — торжествуя скажет всероссийская сволочь, прочитав Винниченково сочинение».

Приглашая к себе на Капри и Коцюбинского, и Винниченко, Горький тщательно присматривался к обоим и «романтизм» первого несомненно противопоставлял и предпочитал «реализму» второго.

Ирония судьбы состояла, однако, в том, что цинизм Винниченко отталкивал далеко не всех в большевистском окружении Горького и отнюдь не помешал ему завязать необходимые политические связи. А когда «садисты и мазохисты» из описанных Винниченко-реалистом, вроде будущего его сопративителя **Симона Петлюры (1879–1926)**; в 1911 — скромный бухгалтер одной из московских страховых компаний и по совместительству театральный критик), действительно «встали во главе революции», то и сам автор «Рівноваги», как мы это вскоре увидим, не обрадовался. Увидим мы и то, пошла ли на благо Украине, как борющейся и одновременно формирующейся политической нации, страсть Винниченко к политике.

## ЛЕКЦИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### КОТ И КИТ

— Всё это, конечно, очень мило и над всем царствует гетман. Но, ей Богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX.

— Да кто он такой, Алексей Васильевич?

— Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик и зовут его Павлом Петровичем...

Михаил Булгаков, *«Белая гвардия»*

Вот так был создан миф о том, что некий трагикомический персонаж, обуреваемый дьявольской гордыней и, так сказать, «нечаянно пригретый славой», — «над нами царствовал тогда». А критика и литературоведение (в данном случае булгаковедение) на протяжении целого столетия без устали его распространяют.

Кто же такой на самом деле **Павел Петрович Скоропадский (1873–1945)**? Уж не принадлежал ли он к тому самому типу **железной интеллигенции**, о которой сам **Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940)** говорил так: «Вот писал всё: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, **железная интеллигенция**». (*Михаил Булгаков, «Гнилая интеллигенция»*)

Кстати, вспомним: «Ты у меня тоже железный, да не так, как этот...» (*Иван Тургенев, «Накануне»*)

У нас есть счастливое отличие от первых читателей романа Булгакова **«Белая гвардия»** (основной текст был закончен в 1923 г., публикация растянулась до конца 20-х<sup>86</sup>): мы можем сравнить его с **«Воспоминаниями» (1919) Павла Скоропадского**.

<sup>86</sup> Белая гвардия // Россия, М., 1925, — (первые 13 глав), № 4 (февраль) — 1 часть, № 5 (апрель) — 2 часть. Булгаков М. А. Дни Турбиных (Белая гвардия). Т. 1. Париж: Concorde, 1927; Т. 2 — 1929 (без указания издательства). Второй том этого издания был переиздан в 1929 г. рижским издательством «Книга для всех» под названием «Конец белой гвардии».

Оба героя этой истории родились в один и тот же прекрасный весенний день — 3 (15) мая. Но только с разницей в 18 лет, будто предвещавшей им обоим «великий и страшный» 1918 год.

В Европе было 15 мая 1873 года, но всё еще цвели каштаны, приветствуя рождение в Висбадене младшего сына отставного полковника Кавалергардского полка Петра Ивановича Скоропадского и его жены Марии Андреевны, дочери известного фарфорозаводчика А. М. Миклашевского. Не менее известным культурным деятелем Украины был другой дед Павла Петровича — Иван Михайлович Скоропадский, богатый украинский помещик и меценат, полтавский губернский предводитель дворянства (1851–1854), устроитель и ныне существующего Тростянецкого парка.

И в Киеве 3 (по-европейскому стилю 15) мая 1891 года цвели каштаны, приветствуя рождение старшего сына доцента (с 1902 года профессора) Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены, преподавательницы женской прогимназии, Варвары Михайловны, в девичестве Покровской. Оба родителя будущего писателя происходили из духовенства, православие было, так сказать, естественной средой их обитания, им не было нужды как-то специально заниматься своими «религиозными убеждениями», как поступали в их время многие представители так называемой интеллигенции. Михаил же, хоть в юности и склонялся к атеизму, слово «интеллигенция» не слишком жаловал, да собственно к ней себя и не причислял.

Но вот, пожалуй, еще более важный вопрос: а как киевлянин доктор Булгаков, автор самого известного во всем мире романа о Киеве, относился к украинскому языку? Согласимся здесь с киевско-харьковским булгаковедом Лидией Яновской, отметившей не только «обилие», но, что важнее, «точность» украинизмов в романе. Значит, делает правильный вывод булгаковед, автор романа «безусловно знал» украинский язык, во всяком случае — «живую стихию устной народной речи». (Вообще-то Лидия Марковна утверждала, что не только «знал», но и «любил», однако это утверждение мы вскоре проверим и тогда посмотрим, соглашаться нам с ним или нет.)

К началу революционных событий 1917 г. генерал Скоропадский много и героически послужил Российской империи в двух войнах (русско-японской и первой мировой). А доктор Булгаков



был этой же империей воспитан в 1-й киевской гимназии и на медицинском факультете Киевского университета им. св. Владимира.

К кому из них можно применить чешское слово *dvojdmost*? Или можно поставить вопрос так, как поставила его в своем итоговом эссе слушательница нашего курса Доминика Окасова: «Proč by si člověk musel za každou cenu vybrat, na kterou stranu se přidat nebo k jaké národnosti se hlásit? Stejně jako život není černobílý, ani národnostní cítění člověka nemusí být tak snadnou záležitostí».

Попробуем разобраться.

«**Белая гвардия**» — первый роман, написанный молодым (примерно 30-летним) Булгаковым (далее цитирую его по первому полному изданию: Париж, 1927–1929). Этот роман сразу вводит нас в ситуацию, где, собственно говоря, поздно уже спорить о религиях и языках, а надо бы выбирать из-под обломков гражданской войны и что-то среди этих обломков пытаться выстроить приемлемое, «удобоваримое». Кто же призван всё это осуществить?

Век расшатался — и скверней всего,  
 Что я рожден восстановить его!  
 Ну что ж, идемте вместе.  
 Уходят.  
 (Вильям Шекспир, «Гамлет»)

Как у Шекспира, так и у Булгакова, — уходят после неудавшейся попытки, слишком быстро, чтобы дать зрителю себя как следует рассмотреть — и наступает эра догадок.

Но вот, как это любил Пушкин, и мы можем сказать:

Прошло сто лет — и что ж осталось  
 От сильных, гордых сих мужей,  
 Столь полных волею страстей?  
 Их поколение миновалось —  
 И с ним исчез кровавый след  
 Усилий, бедствий и побед.

Но, следуя Пушкину, последней точки тут еще не ставить. Разбираться.

Что же мы видим по прошествии ровно ста лет, миновавших от момента завершения рукописи романа Булгакова и чуть более ста лет — от момента написания воспоминаний Скоропадского?

Прежде всего, мы видим две субъективные, личностные и при этом противоположные позиции в оценке ситуации.

Первая — четкая и ясная: «Как я, прожив 44 года на свете, еще мало знал жизнь, когда у памятника Владимира с такой доверчивостью пошел на эту каторгу, веря, что меня поймут. За мной не пошли». (Павел Скоропадский, «Воспоминания»)

А теперь давайте обратимся к роману Булгакова и его критике гетмана.

Роман разделен на двадцать глав. Первая — экспозиция, краткий очерк всей предшествующей истории семьи Турбиных. Собственно действие романа завязывается во второй главе, начинающейся словами: «Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец».

Все основные события глав 2–18, вплоть до счастливой развязки (чудесного выздоровления смертельно больного Алексея Турбина), совершаются в течение нескольких декабрьских дней. Исключение составляют главы 5–6, в которых кратко излагаются события в Городе за весь восемнадцатый год. Главы 19–20 — эпилог, время событий в нем — январь и февраль 1919 года.

Вот эти несколько дней середины декабря 1918 года — не только время действия «Белой гвардии», но и время **трагической развязки гетманата Скоропадского**. Она-то, собственно говоря, есть **единственная историческая тема** романа. Даже зимний пейзаж не обходится без исторических метафор. В прологе: «Над двухэтажным домом № 13 постройки изумительной (на улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветви на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло **шапкой белого генерала...**»

Белой гвардии, кажется, просто **приходится** быть белой, причем еще до официального появления такого ее названия, ибо накрывает ее в окопах белым саваном искристый (от луны) снег (рассказ Мышлаевского).

Ощущением конца наполнены мысли и беседы героев романа. Они, конечно, как все нормальные люди, признавать свою вину в совершающейся трагедии Города не хотят: они ведь люди маленькие, пешки на большой шахматной доске, жертвы игры неведомых сил. Таковы, во всяком случае, разговоры между мужчинами. И только женщина — Елена Турбина — в отчаянном обращении к другой женщине — Марии, матери Иисуса — признает очевидное («**Все мы в крови повинны...**») и молит о милости («**...но ты не карай!**»).

Но что за силы-то такие неведомые? Кто вершит украинскую и мировую историю? Уж не масоны ли, чей опасный заговор против общества предсказывал А. И. Булгаков — профессор богословия и отец нашего писателя — в книге, выпущенной за 15 лет до свершающихся в романе событий?<sup>87</sup> Как знать, как знать... Персонажи обильно цитируют Апокалипсис, на что-то смутно намекая.

Впрочем, есть в романе один персонаж, одновременно как бы и эпизодический, и главный.

**Эпизодический** — ибо деяния его описаны скупо, а слова ему и вовсе не дано. За него говорят какие-то странные его «представители», которых он вряд ли на это уполномочил: «Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, впрочем, и сам гетман». Между тем даже имеющиеся в нашем распоряжении тексты гетмана, собственноручно им написанные, к счастью, лишены какой-либо тривиальности и, к сожалению, лишены какой-либо самодостаточной силы...

А **главный** — ибо он-то и есть Киевский Гамлет, взявший на себя единоличную ответственность за восстановление расшатавшегося века. Генерал на Белом Конне... Уж не из того же ли самого Апокалипсиса?

«И вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Ап. 6:2). «И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует»; «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Ап. 19:11).

В последнем случае «сидящий на белом коне» обычно толкуется как Господь во Втором пришествии. В первом же случае однозначного толкования нет. Согласно одним авторам, это тот же всадник,

<sup>87</sup> Булгаков, А. И. Современное франкмасонство. Опыт характеристики. Киев, 1903.

что и всадник в гл. 19. Однако всадник 6-й главы — один из «четырех всадников Апокалипсиса», из которых три остальные являют собой олицетворение зла. Поэтому в Новое время всадник 6-й главы толкуется в негативном смысле, как символ Чумы, а также как символ Завоевания. Венец, победоносность, белый конь — всё это приметы полководца-завоевателя.

Может и прав был Алексей Турбин, зря были затеяны все эти игры чуть ли не с «венчанием на царство» (киевское духовенство и это предлагало, да Павел Петрович отказался), равно как игры «с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX»? Да и кто он, наконец, такой, этот «генерал на белом коне»?

Он отличился сначала в русско-японской войне, с которой вернулся с шестью орденами. В 38 лет стал генералом и в этом чине вступил в Первую мировую. Уже в 1914 г. Кавалергардский полк вошел в состав Сводной кавалерийской дивизии под командованием генерала Скоропадского.

Февральскую революцию 43-летний генерал-лейтенант встретил командиром 34-го армейского корпуса. Два главных года своей жизни — 1917 и 1918 — Павел Петрович подробно, день за днем, описал в 1919 г. в «Воспоминаниях». С детства привык вести дневник — вот и пригодилось.

«... не чувствую ни охоты, ни способности создавать интересные мемуары, — замечал Павел Петрович в начале «Воспоминаний», — но события, центром которых мне пришлось быть за этот период времени, сложность только что пережитой мною политической обстановки заставляют меня записать то, что не изгладилось из моей памяти».

В этих «Воспоминаниях» есть как раз всё то, чего нет в «Белой гвардии», но что наверняка хотелось бы понять непредубежденным ее читателям.

«Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Что бы то ни было, Украина в той или другой форме будет». (Павел Скоропадский, «Воспоминания»)

Здесь стоит вкратце напомнить, каково было геополитическое положение Украины в начале 1918 года.

Не признавая УНР (Украинской Народной Республики), большевики повели наступление с севера и взяли Киев 26 января (8 февраля). Но в это время в Брест-Литовске представители большевистской

России и УНР вели переговоры со странами Четвертного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией) о своем выходе из Первой мировой войны. Теперь дадим слово видному деятелю УНР, уже известному нам писателю Владимиру Кирилловичу Винниченко, чьи воспоминания об этих событиях, так же, как и воспоминания Скоропадского, были написаны по свежим следам и опубликованы в Вене в 1920 году, под пышным названием «**Відродження нації**»:

«Під час підписування миру майже вся Україна була під владою більшовиків, а також столиця української держави. (...) Не звертаючи ніякої уваги на те, що більшовики прислали своїх делегатів від українського совітського уряду, доводячи, що величезна частина території України є під цим урядом, німці трактували уряд Центральної Ради (УНР) як єдиний правомочний, законний і дійсний уряд української держави». Это притом, что, разумеется, как не сговариваясь оба — и Винниченко, и Скоропадский — писали в своих воспоминаниях (даже одной и той же идиомой при этом пользуясь), немцы отдавали предпочтение проукраинским режимам перед большевистскими «не ради наших красивых глаз», а потому, что чувствовали в большевиках упрямую мировую силу, с которой боялись не справиться. Как вскоре оказалось, боялись они не зря...

Как бы то ни было, 3 марта большевистская Россия и УНР всё же заявили, дружно и официально, о своем выходе из Первой мировой войны, подписав в Брест-Литовске мирный договор со странами Четвертного союза. 6-й пункт Брест-Литовского договора гласил: «Россия обязуется немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и государствами Четвертного союза, а украинскую территорию немедленно очистить от российских войск и российской красной гвардии».

Дело весьма обычное, чем-то напоминающее недавние Минские соглашения, но был один отличительный нюанс — многотысячные немецкие и австрийские армии, которые в то время размещались по всей территории Правобережной Украины.

Присутствие в Украине войск Четвертного союза, призванных Центральной Радой себе на помощь, мирным договором отнюдь не запрещалось. При этом Первая мировая война продолжалась, и **противники** Четвертного союза, т. е. страны Антанты, отнюдь не собирались уступать своих позиций не только на западе, но и на

востоке Европы. Они и стратегически, и тактически были готовы начать военные действия против Германии, Австрии и их теперь уже фактической союзницы УНР... на территории Украины.

Что же касается войск бывшей Российской империи, участвовавших здесь в военных операциях против немцев, то они большевикам в сущности никогда и не подчинялись: ни те, что не признали УНР, ни тем более те, что ее признали и теперь уже были де-факто войсками украинскими. Ведь еще генерал Корнилов летом 1917 г. отдал приказ об «украинизации» ряда воинских частей, поручив ее никому иному, как генералу Скоропадскому. А новообразованная УНР утвердила последнего в должности командующего всеми войсками УНР Правобережья Украины.

Однако постоянные мелкие конфликты с социал-демократической Центральной Радой, не доверявшей «царскому генералу-аристократу», привели к отставке Скоропадского еще до начала январского наступления большевиков. Интересно, что в 2018 г., к 100-летию гетманата Скоропадского, в украинской прессе появились статьи в его «защиту», авторы которых, развенчивая одни мифы о нем, тут же создавали новые, что называется, на глазах изумленной публики (особенно должна была бы изумиться молодежь, сдающая обязательный экзамен по истории Украины), например: «Скоропадский создал Первый украинский корпус — профессиональное войско из 30 тыс. солдат и офицеров. Благодаря ему орды большевиков не добрались до Киева в январе-феврале 1918 года».<sup>88</sup> Но нет же, они таки добрались!

Правда же состоит в том, что когда уже наступление красных началось и быстро привело к взятию большевиками Киева, генерал получил отчаянное письмо из Житомира, куда отступили разбитые украинские части вслед за самой Центральной Радой, с призывом вернуться в строй и возглавить «борьбу с большевиками». «Я письмо получил в то время, — вспоминал Павел Петрович, — когда уже знал, что немцы двигаются на Украину, и наотрез отказался от этого дела, так как сознавал, что если бы я это сделал, меня всегда бы укоряли в том, что я привел немцев к себе на Родину». По злой иронии судьбы, именно в этом его и укоряли сперва деятели, связанные с Центральной Радой, а затем уж и «всегда».

<sup>88</sup> Камеристов, Р. Украинская держава. Мифы и правда о Павле Скоропадском // Фокус. 2018. 29 апреля.

В Киеве большевики без разговоров расстреливали офицеров, а уж генералов и подавно. Чудом Скоропадский укрылся в семье некоего сапожника. Сам сапожник и его жена понимали, что укрывают офицера. Но вот ушли большевики, и Павел Петрович вновь надел генеральский мундир. «Помню, как удивился сапожник (...) Я его призвал, чествовал и конечно заказал сапоги».

Впервые в своей взрослой жизни не имея командирской должности, Павел Петрович первые дни после ухода большевиков из Киева «ничего не делал», а просто бывал «у многих знакомых всех слоев общества» и таким образом составил представление теперь уже о внутренней ситуации Украины. «Меня удивило, что существовали только одни социалистические украинские партии. (...) Я же в течение 10 месяцев, постоянно имея общение с отдельными деятелями этих партий, убедился уже, насколько, при всей их искренности и желании что-то создать, они интеллектуально бессильны вывести страну на созидательный путь. (...) Все эти мысли привели меня к сознанию, что необходимо создать демократическую партию, это обязательно (украинец в душе демократ), но совсем не социалистическую. (...) Мы сначала должны демократизировать страну, воспитать людей, развить в них сознание долга, привить им честность, расширить их культурный горизонт, и тогда только лишь можно разговаривать о дальнейшем этапе социальной эволюции». Написано будто сегодня про сегодня!

4-м универсалом Центральной Рады, принятым как раз накануне большевистского вторжения, отменялось право собственности на землю. И вот пришла весна, крестьянам пора было засевать. Но чью землю? «Народную»? «Народ», в лице люмпенизированных голодранцев, может, засеять и был бы рад, да ему было нечем. А настоящие украинские крестьяне, в большинстве своем малоземельные, «народолюбивым» универсалом лишались и этой малой земельки. И вот несколько сотен таких крестьян стихийно, никем не позванные, явились в Киев из Полтавской губернии с требованием вернуть им их землю. В это же самое время Скоропадский создает партию «Украинская народная громада», которая начинает активную агитацию за Съезд хлеборобов — по стихийному примеру полтавчан.

«Официально ничего не говорилось о Гетманстве и о предназначении меня в гетманы, — пишет об этих весенних событиях Скоропадский, — но мысль эта, очевидно, бродила в головах многих.

Я никому своего мнения по этому поводу не говорил. В то время официально говорилось лишь о смене министерства и замене тогдашних деятелей более культурными и работоспособными. Списки эти предлагались различными учреждениями и партиями. Очевидно, что это был период, когда немцы уже видели, что дальнейшая работа с Центральной Радой ни к чему не приведет, и, желая разобраться во всей тогдашней каше, обращались к тем, с кем успели познакомиться поближе и кто им казался на высоте задачи». Вот так совпали в своем желании «наведения порядка» немецкие оккупационные власти и реальные труженики Украины, и мысль о сильной гетманской руке в разгар весны восемнадцатого года «бродила в головах многих».

Но только не киевских интеллигентов.

— Полгода он издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. (...) Сволочь он, (...) ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего-то много. В Белом море киты есть...

(Михаил Булгаков, «Белая гвардия»)

Итак, генерал-лейтенант, герой двух войн Павел Петрович Скоропадский по зрелом размышлении решил принять пост Гетмана Всея Украины. Переворот готовился прямо на виду у Центральной Рады. Немцы обещали генералу свой нейтралитет, а при успехе переворота и поддержку. Всеукраинский съезд хлеборобов состоялся 29 апреля в цирке на Николаевской улице (ныне ул. Архитектора Городецкого) и единогласно избрал Павла Петровича гетманом. Он и его сторонники понимали фигуру гетмана вовсе не как какого-то «невиданного правителя» с неопределенными и чуть ли не безграничными полномочиями. В настоящий момент гетмана определяли как временного диктатора для наведения порядка, а в будущем предполагали в нем президента демократической республики.



Конечно, для будущего важны были нерешенные в настоящем вопросы об избирательном праве и об отношениях с Россией. Но какой был смысл поднимать эти вопросы в восемнадцатом году, когда не был установлен контроль Киева над всей территорией Украины и не было ясно, когда и каким будет более или менее устойчивый и договороспособный политический режим в России?

Во всяком случае, Скоропадский не имел ни малейшего желания о чем-либо договариваться с большевиками, в чем, собственно, и состояло его главное отличие от таких социал-демократических единоверцев этих самых большевиков, как Винниченко и другие деятели Центральной Рады и, в скором будущем, Директории. Вместо этого Скоропадский чуть не с первых дней своего правления начал переговоры с такими же, как он, белыми (!) генералами, формировавшими на Дону свои дивизии для похода на большевистскую Москву. Павел Петрович нисколько и не скрывал, что с самого начала такого похода гетманская Украина решительно присоединилась бы к нему.

Конечно, для этого ей понадобилась бы сильная армия. «Так за чем дело стало?» — вопрошали бывшие офицеры царской армии — вернувшиеся с фронта коренные киевляне или же бежавшие с севера от большевиков. Они готовы были хоть сейчас идти на Москву, а вместе с ними рвалась в бой вся ненавидевшая большевиков украинская молодежь. Совокупное мнение их всех — **но, уввы, не в апреле, а в декабре — выражает в «Белой гвардии» Алексей Турбин**, обвиняя гетмана (как мы увидим сейчас, совершенно незаслуженно) в злонамеренном бездействии:

— Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дороною душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент; ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Видите, в чем камень преткновения? В одной лишь **украинизации**. Для Алексея Васильевича она всего лишь комедия, а для

Павла Петровича отнюдь нет. Для него главное и несомненное: Украине быть, народ-демократ заслуживает иметь свою независимую демократическую республику. Ну и, конечно, развивать свой язык, который он и без того уже имеет.

Не беда, что украинскому врачу Курицкому (впрочем, как и украинскому врачу Булгакову) не довелось на медицинском факультете университета св. Владимира изучать разделы профильной биологии (включая зоологию) на украинском языке, да хорошо бы еще в современной нам графике и орфографии. Они б тогда, эти врачи, не заморачивались с такими словами, как *кіт* и *кот*. Это дело легко поправимое, было бы желание, а его-то как не было, так и до сих пор у многих, признаться, и нет: ведь не *кіт* и *кот* священные животные киевского, харьковского, одесского мещанина, а *мова* и *язык* — вот его священные животные, ненароком задумавшись о которых он сразу же и теряет всякую способность думать. Ему-то в первую голову и адресованы написанные век тому назад, но как сегодня про сегодня, простые слова Павла Петровича Скоропадского. «Главное, что они ненавидели, — пишет он о таких как Турбин, — это язык, хотя язык частному человеку приходилось, если он его избегал, слышать лишь в официальных канцеляриях и читать на нем лишь «Державный Вестник».

Вот какой простой совет мог бы спасти интеллигентную Украину, интеллигентную Россию — совет в духе позднейшего совета профессора Преображенского (героя «Собачьего сердца» того же Булгакова) не читать советских газет. Впрочем, запоздалый совет профессора Преображенского вряд ли помог спасти самого его и его близких от последовавшей сталинской расправы. В то время как своевременный совет «частному человеку» гетмана Скоропадского — без крайней необходимости не читать «Державный Вестник» — этому «частному человеку» был бы весьма и весьма полезен. «Он бы, сукин сын, Россию спас», не говоря уж об Украине...

А он и себя-то чудом спас (читавшие роман помнят, каким именно чудом и какова была цена для Елены чуда спасения брата). Ведь когда ему, раненому, срочно понадобилась медицинская помощь, Николка, посланный хоть за каким-нибудь по соседству доступным врачом, думает:

**«Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...»**

Да что ж мы за люди такие, если даже в смертный час нас насмерть разделяют кит и кот?!

В сущности, детские игры взрослых, вовлекающих в них уже и детей.

«— Детей зачем-то ввязали в это, — послышался женский голос.

Тут только Турбин увидел толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре.

И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске. Вра... вра... вра... вра... вра... вра... «Чепуха какая-то уже, кажется, делается», — растерянно думал Турбин (...). Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись: «На благое просвещение русского народа», вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера. (...) — Картузова надо ждать! Вот что! — выкрикивал звонкий встревоженный голос».

Судя по реплике случайной дамы, все суетящиеся вокруг Педагогического музея на Владимирской, где еще с полгода тому назад заседала Центральная Рада, очень молоды.

Комментарий к этой реплике нашел в газетах того времени киевский историк Я. Тинченко. Речь идет о деятельности врача Е. Ф. Гарнич-Гарницкого (между прочим, он по основной специальности венеролог, как Алексей Турбин) и его движении бойскаутов, которое он с готовностью предоставил в распоряжение защитников Города.

«В связи с формированием дружины бойскаутов, — пишет Я. Тинченко, — не обошлось и без печальных сравнений. Кто-то из журналистов вспомнил, что во время 1-й украинско-большевистской войны (декабрь 1917 – март 1918) уже формировалась одна дружина из студентов и гимназистов якобы для охраны города. Что из этого вышло, киевляне хорошо знали: 29 января 1918 г. дружина была брошена в бой против большевиков под станцию Круты, где большая ее часть погибла. Этот аргумент против формирования дружины бойскаутов был достаточно веским, но генерал Долгоруков клялся и божился, что гимназисты в боевых действиях участия принимать

не будут. Забегая вперед скажем, что своего слова по отношению к бойскаутам Долгоруков не сдержал, как, впрочем, не сдержал слова, данного им киевлянам «не оставлять города» и офицерам «умереть в рядах вверенных войск». Первые же дни существования дружины дали положительные результаты. Многие патриотические газеты с восторгом писали о юных защитниках города. «Киевская Мысль» 4 декабря 1918 г. в номере 231 поместила обширную по тем временам статью, посвященную бойскаутам: «Известный циркуляр министра народного просвещения В. П. Науменко о досрочном освобождении от занятий учащихся двух старших классов средних учебных заведений города Киева и о разрешении им при желании записываться в отряды бойскаутов с целью поддержания порядка в городе, вызвал большое оживление среди учащихся. В Педагогическом музее на Владимирской улице в настоящее время идет усиленная запись этих добровольцев, для формирования из них затем особых отрядов по охране города и несения ими караульной службы на телефоне, телеграфе, в разных правительственных учреждениях и т. п. Этим, как предполагается, будет достигнута возможность освобождения от караульной службы кадровых офицеров и рядовых и усиление тем за их счет рядов добровольческих дружин. От записывающихся гимназистов, реалистов, коммерсантов требуется собственноручное заполнение особого контрольного листа. Во главе всей этой организации стал доктор Е. Ф. Гарнич-Гарницкий. Давно уже существующая в Киеве его организация бойскаутов из учащихся преимущественно средних учебных заведений явилась ядром новой организации и ныне вливается в последнюю как ее основная часть. Педагогический музей с развевающимся теперь над ним русским национальным флагом сейчас центр и добровольцев учащихся и добровольческих дружин».

Но самое интересное, что командовать дружиной бойскаутов был действительно назначен молодой полковник (редкой тогда воинской специальности — летчик) Алексей Федорович Малышев. Почему Булгаков вывел его **под его же собственной фамилией** — это, видимо, навсегда останется тайной. Разве что где-то в архивах всплывут сведения о дальнейшей судьбе летчика Малышева: они пока совершенно неизвестны. Зато есть сведения о том, что врачом дружины бойскаутов (не по протекции ли коллеги-венеролога?) был назначен доктор Михаил Булгаков.

Среди отрядов, сдавшихся петлюровцам у здания Педагогического музея 14 декабря, не оказалось бойскаутов из отряда, который еще вечером 13 декабря находился в здании Александровской гимназии. Этот отряд рано утром 14 декабря был действительно распущен офицерами по домам. Так что вполне вероятно, что его роспуск полковником Малышевым Булгаков описал вполне правдоподобно и что будущий автор «Белой гвардии» действительно именно ему был обязан если не жизнью, то свободой. Так не в этом ли разгадка? Не из чувства ли благодарности Малышев увековечен под своей собственной фамилией? И величайшие, пожалуй, самые значительные в романе слова ему приписаны (а может он и вправду их сказал?):

— Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить.

В это же самое время в уютной квартире Турбиных все антибольшевистские надписи на знаменитой печке были смыты, и осталась только одна — недовытертая, зато политически нейтральная: «...Лен... я взял билет на Аид...»

Тем временем мировая война официально закончилась. 11 ноября между Антантой и Германией недалеко от города Компьень было подписано так называемое соглашение о перемирии, а фактически капитуляция Германии. И в тот же день из киевской Лукьяновской тюрьмы был выпущен видный украинский социал-демократ и деятель Центральной Рады Симон Васильевич Петлюра, под честное слово не заниматься политической деятельностью, данное сперва министру юстиции А. Г. Вязлову, а затем и лично гетману.

Тут же, прямо из гетманского кабинета, Петлюра и отправился заниматься политической деятельностью в Белую Церковь: поднимать против гетмана стоявшие там полки сечевых стрельцов.

В «Белой гвардии» эта история про честное слово получила «детское» переосмысление.

«— Ну тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?

— Честное слово.

— Иди.

⟨...⟩ Он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть Верхнего Города  
⟨...⟩ Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка».

От 17-летнего, но уже побывавшего под пулями Николки вернемся теперь к многократно бывавшим под пулями и пока что верно служившим гетману сечевым стрельцам, к которым, прямо из гетманского кабинета, отправился Петлюра.

К этому времени сечевики уже получили сведения из родного Львова о том, что там поляки, которые составляли большинство населения этого города, видя, как у них на глазах рушится ненавистная Австро-Венгерская империя, теперь уже не желали быть частью никакого иного государства, кроме польского, и взяли под контроль более половины городской территории: там шли ожесточенные уличные бои. 13 ноября была провозглашена ЗУНР и создано ее правительство, которое остро нуждалось в защите «белоцерковских» сечевиков. Гетман дал им разрешение грузиться на поезда и возвращаться во Львов.

Но Петлюра в Москве был не только бухгалтером страховой компании (о чем так навязчиво, не раз и не два, напоминает автор «Белой гвардии»). Он там был еще и театральным критиком, т. е. обладал редким умением спектакль самодеятельного драмкружка представить как чуть ли не шекспировскую драму. И если с бухгалтерией у деятелей будущей Директории было всё плохо (иначе они «просчитали» бы большевиков, давших им Киев на разграбление, как оказалось, всего на 47 дней), то с красноречием и самомнением было всё хорошо. Сечевики не устояли и вместо отъезда на Львов устремились на Киев.

В тот же знаменательный день 13 ноября большевики разорвали Брест-Литовский договор и двинули войска на Украину. И в тот же самый знаменательный день в Киеве состоялось тайное совещание представителей национал-социалистических партий, провозгласившее начало антигетманского вооруженного восстания, для руководства которым тут же и была избрана Директория в составе: Винни-

ченко (председатель), Петлюра, Швець, Макаренко, Андриевский. По ходу трое последних как-то растворились в политическом тумане — фактически руководили первые двое, причем месяц их совместного руководства было трудно назвать медовым — но об этом позже.

Из сопоставления дат напрашивается вопрос, который уже не раз задавали историки, в частности Юрий Павленко и Юрий Храмов: «Случайно ли совпали во времени провозглашение курса на вооруженное выступление Директории против гетмана и разрыв большевиками Брестского договора? Достаточно ли объяснить первое и второе самим лишь фактом революции в Германии и Компьеньской капитуляции?» — спрашивают историки и приводят цитату из вышеупомянутой книги Винниченко, который сам рассказал, что во время его тайных переговоров с большевиками Д. Мануильский (которому недаром же был поставлен впоследствии памятник в Липках, ровно в квартале от бывшего места гетманской резиденции) предложил подписать договор. Винниченко предусмотрительно отказался (предусмотрительно, ибо поставь он подпись под столь скандальным документом — и не быть бы ему в программе по украинской литературе, и не включили бы его творы в экзамен, ныне сдаваемый всеми поголовно выпускниками школ Украины). В результате «о содержании устной договоренности между украинским писателем-радикалом и русскими большевиками мы фактически ничего не знаем. Ясно, что большевики повели себя совсем не так, как рассчитывал Винниченко, что в конце концов привело и к изгнанию из Киева Директории, и к поражению украинских национально-государственных стремлений периода гражданской войны».<sup>89</sup>

Почему же Винниченко поверил большевикам, но не поверил гетману? До сих пор часто звучащие суждения о политической и даже «классовой» близости этого друга Максима Горького и Михаила Коцюбинского к радикальной части интеллигенции не выдерживают, на мой взгляд, никакой критики. Горький, бывший «апологет босяков», в это самое время назло большевикам публиковал свои «Несвоевременные мысли». А представители «радикальной» части украинской интеллигенции проклинали Юрия Коцюбинского за его приход в красную армию и писали ему, что отец его «перевернулся

<sup>89</sup> Павленко, Ю., Храмов, Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз). К., 1995. С. 176.

бы в гробу», если б узнал, кем стал его сын. Между тем к Павлу Скоропадскому Владимир Винниченко заходил запросто, вел интеллигентные беседы на политические темы, совещался о составе кабинета министров — а в это самое время затевал переворот и договаривался с большевиками.

Нет, тут другое, тут всё проще гораздо, тут наше вечное «два украинца — три гетмана». Словосочетание «личные амбиции» от многократного употребления слегка потерлось, но по-другому и не скажешь. А что до украинской интеллигенции, то сам же Винниченко в своей книге простодушно признается: «Во время подготовки восстания, когда слухи кружили по городу, среди украинских «ширих» патриотов господствовало огромное возмущение против инициаторов и руководителей этой акции. Бывали случаи, когда на меня кидались едва не с кулаками и кричали:

— Не чіпайте Гетьмана! Не розвалюйте Української держави! Він кращий українець і самостійник, ніж усі ваші партії!

Да и теперь еще находятся «политики», которые думают, что восстание загубило украинскую державность. Какая б она там не была, скажут они, а все-таки она была украинской — глава ее даже побывал в Берлине и беседовал с императором немецким, ее признали, поддержали, она уже вставала на твердую почву. (...) Восстание же привело к гибели всего этого».

И трудно не согласиться с комментарием этих слов историками Павленко и Храмовым: «И через 75 лет после этих событий трудно не признать тот факт, что эти люди были правы».<sup>90</sup> А через сто — тем более. Абсолютно прав был и Павел Петрович, когда в «Воспоминаниях» утверждал: «Если бы не было восстания, северный большевизм к нам никогда бы не проник, а с внутренним можно было бы справиться средствами министерства внутренних дел».

Сцена «позорного бегства» гетмана в «Белой гвардии», мягко говоря, слегка преувеличена. Никакие немцы не выносили его «из дворца» под видом «раненого майора».

Посмотрим, что говорит о так называемом бегстве сам Павел Петрович в своих «Воспоминаниях».

«Вечером (13 декабря) я еще занимался делами. Впоследствии я узнал, многие люди думали, что у меня было что-то готово к бегству,

<sup>90</sup> Там же. С. 175.



но это неверно. У меня ничего не было приготовлено, и с немцами никакого сговора не было. Я просто верил в свою судьбу и знал, что так или иначе — выскочу. Единственное мое распоряжение было то, что я свою жену просил уехать ночевать из дома к знакомым, так как ходили слухи, что у меня же в доме есть люди, которые злоумышляют на меня. Зная, что еще два дня Киев может держаться, я думал, что успею впоследствии о себе позаботиться. Единственное, что я приказал, это чтобы проходной двор в доме № 14 по Левашовской улице, недалеко от моего дома, был открыт, дабы я имел возможность внутренним двором, в случае надобности, пройти в штаб Долгорукова, а кроме того, на всякий случай, в одну знакомую квартиру, недалеко от этого двора, приказал снести доху».

В романе Булгакова Шервинский утверждает (но можно ли верить Шервинскому?), что «вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи», т. е. в полдень 14 декабря.

Но продолжим цитату из «Воспоминаний» Скоропадского.

«Вечером я лег спать как обыкновенно. Ночью я получил часа в три телеграмму, в которой Винниченко тоном Наполеона требовал полной ликвидации Гетманства. Прочтя, я снова заснул и в 7 часов встал. Слышался сильный гул орудий, я вызвал дежурного офицера, который мне доложил, что части, защищающие Киев, «отходят на вторые позиции». Я понял, что это за вторая позиция, и подумал себе: «Вот тебе и два дня удержания Киева, и трех часов не удержат!»

Как видим, эта оценка военной обстановки в Городе в точности совпадает с малышевской оценкой в романе, высказанной в тот же день и тоже в семь часов утра:

— Господин поручик, Петлюре **через три часа** достанутся сотни живых жизней...

Днем 14 декабря 1918 г. в отеле «Паласт» на Бибиковском бульваре, 5 (ныне отель «Премьер Палас») гетман Скоропадский написал отречение от власти, чем и освободил «от своих обязанностей и от присяги» честных людей, которые всё еще за него дрались.

Полковник Малышев, как мы помним, освободил своих людей от присяги гетману в 7 часов утра, когда гетман только что встал с постели, еще думая как всегда приступить к своим обязанностям. И поскольку Малышев изображен в романе под своей собственной фамилией, честь этого храброго летчика требует от нас ясного

понимания, что если он действительно объявил своему дивизиону о «бегстве» Скоропадского и Долгорукова всё то, что, в свою очередь, сообщил нам Булгаков, то, конечно, не сам это выдумал, а основывался на недобросовестно распространявшихся слухах.

Хотя для самого Булгакова-Турбина и тех молодых ребят, которым ему пришлось бы раны перевязывать, добросовестное заблуждение Малышева оказалось и к лучшему. Свой билет на Аид, т. е. в царство мертвых, они отсрочили кто на день, кто на месяц, кто на год, а кто и на целую жизнь, чтоб не раз еще послушать в киевской Опере или в московском Большом столь любимую Булгаковым «Аиду».

А что же Петлюра? «Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней». (Михаил Булгаков, «Белая гвардия»)

Еще в середине ноября, т. е. вскоре по прибытии Симона Петлюры из Лукьяновской тюрьмы в Белую Церковь (с заездом по дороге к гетману для дачи честного слова) Город наполнился **«загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:**

— **Пэтурра».**

Справедливости ради стоит отметить, что немцы не поддерживали рвущуюся к власти Директорию, точно так же, как за 7–8 месяцев до этого, вопреки сложившемуся мнению, открыто не поддерживали и переворот, который привел к власти гетмана. Во время обоих переворотов (и в апреле, и особенно в ноябре — декабре) всё, чего хотели немцы (и на этих условиях придерживались нейтралитета), было соблюдение в стране порядка. И особенно порядка на железных дорогах, который в декабре был им особенно желателен для того, чтобы в результате своего фактически признанного в Компьене поражения в войне покинуть эту страну. Предполагалось, что место этой «силы порядка» теперь на всей территории Украины займут войска победившей Антанты. *Та не так сталося, як гадалося...*

Но вернемся к «Белой гвардии». Как мы видели, отношение главных героев к гетману — это отношение к человеку в общем понятному, человеку своего круга, но заигравшемуся в царя и потому достойному саркастического презрения.

Отношение же их к «Пэтурре» — это отношение к силе чужой, непонятной и мифологизированной не ими, а до них. Всем как бы заранее ясно, что миф очень скоро развеется, уступая дорогу уже настоящей, хоть тоже чужой и враждебной силе — большевикам. Да и сами Петлюра с Винниченко, как оказалось, исторически верно

и сообразно дипломатическим «заслугам» последнего (его тайным переговорам с большевиками) оцениваются киевлянами Булгакова всего лишь как предтечи Ленина и Троцкого в нашем Городе.

Оценка петлюровских сил — то небольшое, в чем Скоропадский совпал с автором «Белой гвардии», оперируя при этом не мифами, а разведанными. «Главной опорой Петлюры, — отмечает он в «Воспоминаниях», — были галицийские сечевики и тот самый Черноморский кош, куда теперь пристала масса всякой голытьбы и который раньше предполагалось сформировать для посылки на Черноморье (т. е. на Кубань, в поддержку Краснову. — В. З.). Движение на Киев особенно привлекало массу народа большевистского направления, так как Петлюра им обещал, а может быть, лично он этого и не сделал (но распространялись в его частях сведения), — дать Киев, в случае удачи, на три дня на разграбление».

Можно с большой долей вероятности принять эти сведения за достоверные, ибо в этой удобной для Головного Атамана позе («то ли сам обещал, то ли лично он этого и не сделал») Петлюра был замечен не единожды, особенно если говорить о такой постыдной странице, как еврейские погромы (что, как мы увидим, сыграло роковую роль в его личной судьбе).

Вот и в «Белой гвардии» описание сорока семи петлюровских дней в Городе начинается и заканчивается эпизодами зверских и бессмысленных убийств евреев. Первым, кто подвернулся под горячую руку ворвавшегося на Печерск сотнику Галаньбе, оказался Яков Григорьевич Фельдман. Будучи Галаньбою остановлен, Фельдман по-человечески и на весьма приличном украинском языке дал точное и правдивое объяснение:

— Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба.

— До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаєшься? А? ж-жидюга?..

(...) Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове».

А вот про «нелегкую смерть» еврея — это как раз последний петлюровский эпизод в романе. Он не для цитирования даже в той аудитории, которой накануне довелось проанализировать «Вывод» Горького.

Стоило ли уж так накрепко связывать Петлюру с погромщиками? К чему в булгаковском романе этот символизм?

А вот спросим об этом нежного и преданного супруга Розалии Яковлевны Лифшиц — Владимира Кирилловича Винниченко. Тот в своей книге «Відродження нації» напрямую связал с деятельностью Головного Атамана «причину и тех еврейских погромов, которые, начавшись вскоре по вступлении Директории в Киев, потом такую страшную, кровавую эпидемию разлились по всей Украине. Не имея глубоких, захватывающих солдатские массы социально-революционных лозунгов, атаманы должны были чем-то поддерживать «козацкий дух». И «давали хлопцам погуляти», как говорилось тогда.

Ни для кого теперь уже не секрет, что преимущественно сама офицерня подбивала к этому солдат. И также не секрет, что ни одного из таких преступников атаманской властью не было ни расстреляно, ни вообще как-то наказано. А когда глава Директории (*т. е. сам Винниченко. — В. З.*) стал требовать у Головного Атамана объяснений, то Головной Атаман С. Петлюра сердито ответил: «А чого ж вони (евреї) не боролись з нами проти гетьманщини?!» И если Головной Атаман говорил и думал, что евреи заслужили погромы, то что могли думать, говорить и делать атаманцы? (...) атаман Ангел останавливал поезд, вытаскивал из него всех евреев — женщин, детей, стариков, раскладывал всех в ряд на перроне и порол плетью. Был ли он наказан, как требовала вся Директория от С. Петлюры? Разумеется, нет».

И в заключение важный (ибо прецедентный) вопрос: а был ли наказан сам Головной Атаман? Да, он был наказан тем, что получил свой досрочный билет на Аид и — не только в романе Булгакова — стал **Пэтуррой** или **Патлиорой**, разница невелика.

«Белая гвардия» была уже написана, и год оставался до ее полной публикации в Париже, когда, а именно **25 мая 1926 г.**, в этом же самом Париже, произошла роковая встреча двух эмигрантов из Украины — Симона Васильевича Петлюры и Самуила Исааковича Шварцбурда. Тут есть смысл предоставить слово пояснительной табличке (для иностранных туристов) на могиле Самуила Исааковича во главе Аллеи Героев на кладбище израильского города Нетания (буквальный перевод с английского — мой): «Он был свидетелем погромов 1918 г., во время которых было убито около ста тысяч евреев **Патлиорой (by Patliora)** и его последователями. Он выследил Патлиору в Париже, застрелил его и немедленно сдался полиции со словами: «Я убил убийцу». Суд присяжных оправдал его».

К этому стоит лишь добавить, что захоронения на Аллее Героев Самуил Исаакович был бы вполне достоин и без убийства Петлюры. Далеко не каждый французский участник Первой мировой войны получал за свою военную службу высшую награду Французской республики — орден Почетного Легиона. А Шварцбург его получил.

На третий день после убийства Петлюры Винниченко записал в дневнике: «Страшный и угрожающий акт учинил этот выразитель набухшей, накопившейся боли и мести еврейства. (...) И, кажется, это первый акт еврейской реакции на погромы в такой форме. Почему ее не было при царизме? Почему не было ни одного покушения на Деникина, Врангеля и др., более страшных, более сознательных, истинных погромщиков? Не потому ли это всё досталось Петлюре, что сам Шварцбург натурализованный еврей, имеющий орден *legion d'honneur* и рассчитывающий на оправдание его французским судом или на небольшое наказание?»<sup>91</sup>

Бывший глава Директории прав здесь в одном: белая гвардия Деникина, Врангеля и... Булгакова — не такая уж белая и пушистая. Тем не менее и тут есть своя неумолимая статистика, историкам хорошо известная: «В 1918–1921 гг. на территории бывшей Российской империи произошло ок. 2000 (еврейских) погромов, большинство из которых (75 %) на украинских землях. В этих погромах принимали участие все армии без исключения. (...) Меньшая часть приходится на красную армию и крестьянскую армию Махна, больше всего (40 %) на армию УНР и отряды, которые выступали от ее имени».<sup>92</sup>

Итак, «принимали участие все армии без исключения». Однако «ореол» погромщиков **стараниями русской литературы** закрепился именно за петлюровцами, т. е. за **украинцами**. Да, 40 % еврейских погромов дело их рук. А как быть с оставшимися 60 %?

Страшная картина еврейского погрома есть и в «Тарасе Бульбе», однако же сам Тарас не убивает, а спасает Янкеля. При этом Гоголь как украинец по умолчанию не снимал с себя ответственности, и тем более не снимал ее с себя Шевченко как автор «Гайдамаков». А вот традиция как бы объективного, со стороны, и при этом эпически детализированного описания всего того ужаса, что происходил в той же Умани и известен нам по «Гайдамакам», начинается с конца XIX века, с **«Уманской резни» (1890) Г. П. Данилевского**

<sup>91</sup> Винниченко, В. Щоденник, т. 3. С. 116.

<sup>92</sup> Грицак, Я. Подолати минуле. С. 226.

**(1829–1890).** Но дальше в русской, и в том числе в советской литературе периода модного в 60-е годы XX в. документализма, типизация часто имеет привкус старого стереотипа. Такова, напр., сцена массового раздевания несчастных жертв перед расстрелом в документальной повести **«Бабий яр» (1967) А. В. Кузнецова (1929–1979):**

«Украинские полицаи (судя по акценту — не местные, а явно с Западной Украины) грубо хватали людей, лупили, кричали:

— Раздягаться! Быстро! Быстро!»

А почему тогда не «Швыдко! Швыдко!»? И каким это образом 12-летний Толя Кузнецов распознает «западноукраинский» акцент, если с жителями Западной Украины, до 1939 г. входившей в состав Польши, киевляне до 1941 г. вообще никак не соприкасались?!

Впрочем, всем нам уже и на своем веку довелось повидать, как потекли и расплавились литературные мифы и стереотипы, «как дошло до дела». В сущности, так бывает всегда. Странное участие в событиях в Украине 1918–1919 гг. двух выдающихся писателей, Булгакова и Винниченко, и не менее странный их об этих событиях отчет — лучшее тому свидетельство.

Однако даже в подобных критических обстоятельствах литературные мифы и стереотипы не исчезают как таковые. Новые нарождаются и — более того — многие старые начинают работать с неожиданной агрессивностью — и это мы тоже видели на протяжении всей истории русско-украинских литературных связей — даже на той малой верхушке айсберга, которую удалось охватить взглядом на протяжении нашего краткого обзора.

И вот еще один, уже последний пример на тему «Булгаков и Украина».

## ЛЕКЦИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ

### ДОЛГ УКРАИНЕ

#### Долг Украине

Знаете ли вы  
украинскую ночь?  
Нет,  
вы не знаете украинской ночи!  
Здесь  
небо  
от дыма  
становится  
черно́,  
и герб  
звездой пятиконечной вточен.  
Где горилкой,  
удалью  
и кровью  
Запорожская  
бурлила Сечь,  
проводов уздой  
смирив Днепровьє,  
Днепр  
заставят  
на **турбины** течь.  
И Днипрó  
по проволокам-усам  
электричеством  
течет по корпусам.  
Небось, рафинада  
и Гоголю надо!

Мы знаем,  
                   курит ли,  
   пьет ли Чаплин;  
 мы знаем  
                   Италии безрукие руины;  
 мы знаем,  
                   как Дугласа  
   галстух краплен...  
 А что мы знаем  
   о лице Украины?  
 Знаний груз  
   у русского  
   тощ —  
 тем, кто рядом,  
   почета мало.  
 Знают вот  
   украинский борщ,  
 Знают вот  
   украинское сало.  
 И с культуры  
   поснимали пенку:  
 кроме  
                   двух  
   прославленных Тарасов —  
 Бульбы  
                   и известного Шевченка, —  
 ничего не выжмешь,  
   сколько ни старайся.  
 А если прижмут —  
   зардеется розой  
 и выдвинет  
   аргумент новый:  
 возьмет и расскажет  
   пару курьезов —  
 анекдотов  
   украинской мовы.  
 Говорю себе:  
   товарищ москаль,



на Украину  
        шуток не скаль.  
Разучите  
        эту мову  
                        на знаменах —  
  лексиконах алых, —  
эта мова  
        величава и проста:  
«Чуешь, сурмы заграли,  
                        час расплаты настав...»  
Разве может быть  
                        затрепанней  
  да тише  
слова  
        поистасканного  
                                «Слышишь»?!  
Я  
        немало слов придумал вам,  
взвешивая их,  
                        одно хочу лишь, —  
чтобы стали  
        всех  
                        моих  
                                стихов слова  
полновесными,  
                        как слово «чуешь».  
Трудно  
        людей  
                        в одно истолочь,  
собой  
        кичись не очень.  
Знаем ли мы украинскую ночь?  
Нет,  
        мы не знаем украинской ночи.

1926 г. (!)

Стихотворение, которое я полностью здесь воспроизвел, принадлежит **Владимиру Владимировичу Маяковскому (1893–1930)**.

Прадед его по отцу — Маяковский Константин Кириллович, сын полкового есаула, служил в славном казацком городе Бериславе Херсонской губернии. В 1822 г. после завоевания Грузии был переведен на службу на Кавказ.

Когда на одном из литературных вечеров Владимиру Маяковскому прислали записку: «Вы русский, или украинец, или грузин, не пойму?»<sup>93</sup> он в стихотворении «Владикавказ — Тифлис» написал:

Три  
     разных истока  
                         во мне  
                                 речевых:  
 Я  
     не из кацапов-разинь.  
 Я —  
     дедом казак, другим —  
                                 сечевик,  
 а по рожденью  
                         грузин.

Маяковский Константин Константинович (дед поэта по отцу), родившийся в украинском Бериславе, вырос в Грузии, и долгие годы служил секретарем уездного правления Ахалциха.

Бабушка поэта по отцу — Данилевская Евфросиния Иосифовна, происходила из рода казака Данилы, выходца из Подольской губернии (ныне — Винницкая область), была двоюродной сестрой того самого Г. П. Данилевского, автора «Уманской резни».

Отец поэта — Маяковский Владимир Константинович родился в Ахалцихе, учился в Кутаисе и Тифлисе, служил лесничим в крепости Багдади (ныне — райцентр Маяковский), где и родился великий украинец Владимир Маяковский, прославивший Украину, Грузию и ... русскую литературу. Мать поэта — Павленко Александра Алексеевна, тоже была дочерью украинца, штабс-капитана Павленко Алексея Ивановича, погибшего на русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

<sup>93</sup> См.: Бебутов, В. Гимназия лицом к лицу. Тбилиси, 1977. С. 8.

Однако в данной лекции я предполагаю сосредоточить ваше внимание на том самом **1926 году**, когда (в мае) Шварцбург в Париже застрелил Петлюру.

Итак, поодиночке уничтожив «белую гвардию» и национальные движения, большевики взялись за устройство СССР — единственной страны в истории человечества, в названии которой не было ни одного топонима. Теоретически в любой момент в этот Союз могла вступить любая страна в любой части света. А из всех частей прежней Российской империи только Польше и Финляндии удалось отстоять независимость на всё время существования СССР (как известно, страны Балтии поначалу тоже ее отстояли, но потеряли уже перед 2-й мировой войной в результате сговора Сталина с Гитлером).

Иосиф Сталин, ответственный в партии большевиков за «национальный вопрос», «решил» его в Вене, в дешевом пансионе в Шенбрунне. В двух шагах от летней резиденции боготворимого им Франца-Иосифа он и написал в **1913 г.** свою книгу «Марксизм и национальный вопрос», планируя на будущее свою «лоскутную империю» по примеру Австрийской, вскоре прекратившей свое существование.

И «лоскутную империю» удалось создать в рекордные сроки. 30 декабря **1922 г.** было заявлено о том, что три «республики» (читай — всё те же «три братских народа») добровольно объединились в Союз со столицей конечно же в Москве. Далее быстро пошло «добровольное присоединение» Закавказья и Средней Азии, а в 1924 г. была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР (с 1940 г. Молдавская ССР).

Для скорейшего достижения состояния «лоскутной империи» парадоксальным образом понадобилась так называемая **коренизация** национальных республик, упорядочивание национальных письменностей, подготовка национальных кадров, владеющих этими языками и письменностями. В Украине, стало быть, понадобилась **украинизация**.

И вот оказалось, что даже среди коренной украинской интеллигенции было много большевиков, сражавшихся в «красной армии» (как мы помним, даже сын Михаила Коцюбинского Юрий занимал в ней высокий пост). Именно они стали первыми горячими поклонниками и проводниками **украинизации**.

Вдобавок к этому было еще много литераторов по всему Союзу (Украина не была исключением), которым новая жизнь, по слову Владимира Маяковского, мечталась **«великим человеческим обще-  
жизьем без России, без Латвий»**. Парадоксальным образом — именно эти литераторы качественно обновили **украинскую тему**.

Как вообще в эту **Эпоху Победившего Модернизма** приходили темы? Они приходили через ритмы. Да и новые ритмы поэту-модернисту тоже не казались особенно новыми. Эти ритмы и голоса родной земли поэт (допустим, **Федерико Гарсиа Лорка, 1898–1936**) слышал с самого раннего детства: «Однажды кто-то назвал меня по имени, по слогам: «Фе-де-ри-ко». Я оглянулся — никого. Я вслушался и понял. Это ветер раскачивал ветви старого тополя, и мерный горестный шелест я принял за свое имя».

И вот ритмы и голоса родной земли Лорки — **Гранады** — и само ее дотоле неведомое имя в **1924 г.** вышли на свободу. Они с быстротою молнии облетели не только Испанию и (в основном испаноязычную) Латинскую Америку, но и всю Европу, и эхо их отозвалось в самых дальних ее уголках, разве только имя немного изменилось:

...Он пел, озирая родные края:  
Гренада, Гренада, Гренада моя.  
Он песенку эту твердил наизусть.  
Откуда у хлопца испанская грусть?  
Скажи, Николаев, и Харьков ответь:  
Давно ль по-испански вы начали петь?

Нет, недавно: всего за два года до того, как ровесник Лорки, молодой русский поэт **Михаил Аркадьевич Светлов (1903–1964)**, написал свою, сразу ставшую популярной песней, **«Гренаду»**, вышли в свет — и разошлись по свету — **«Песни» (1924)** Лорки. Вот откуда у хлопца испанская грусть...

Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи  
Тараса Шевченко папаха лежит?  
Откуда ж, приятель, песня твоя:  
Гренада, Гренада, Гренада моя?

Мифотворчество — один из родовых признаков этого поколения, поколения модернизма. Не нужно громких фраз и сложных слов. Коротко, просто, понятно народу — и вот уже хлопцу из-под Харькова или Николаева есть дело до слез Андалусии, воспетых Лоркой:

Я хату покинул, пошел воевать,  
 Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.  
 Прощайте, родные, прощайте, друзья!  
 Гренада, Гренада, Гренада моя...

В чем новизна вопроса и как традиционный украинский дискурс XIX в. помогает решить этот вопрос?

Опубликованная в «Комсомольской правде» **29 августа 1926 г.**, «Гренада» сразу стала знаменитой. А Лиля Брик вспоминала, что Маяковский читал ее «дома и на улице, пел, козырял ею на выступлениях, хвастал больше, чем если бы сам написал ее!»

И еще одно событие **1926 г.**, так или иначе связанное с Украиной, поразило Маяковского и в конце концов вызвало к жизни его поэтические размышления о **долге русской культуры Украине**. Но прежде чем этот вопрос, быть может, впервые (во всяком случае — впервые систематически) я начну здесь излагать, я предложил бы вам задуматься вот над чем.

Маяковский — официоз советской литературы на протяжении всех 70 лет ее существования. Почему же не был его вопрос о **долге Украине** задаваем во всеулышанье, и одноименное стихотворение отнюдь не стало у нас хрестоматийным?

После известной резолюции Сталина на письме Лили Брик («Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление») буйным цветом расцвело маяковскоеведение. Много Маяковским занималась и официальная филология УССР. При этом никто здесь не обратил внимания на украинскую фамилию, т. е. на украинское происхождение поэта, о котором сам он всегда помнил и на котором настаивал, когда ему задавали прямой вопрос про «национальность». И выше процитированное соображение о «трех разных истоках речевых» он вел вот к чему:

Три  
 разных капли  
                                 в себе совмещав,  
 беру я  
                                 право это —  
 покрыть  
                                 всесоюзных совмещан  
 И ваших,  
                                 и русопетов.

А теперь посмотрим, как он «покрыл русопетов», т. е. русских шовинистов, в тот самый момент, когда ему довелось встретиться с прямыми нападкаи врагов Украины на ее язык и культуру.

Когда мы говорим про врагов Украины в Москве 20-х годов XX в., то имеем в виду не только Сталина, который заранее спланировал будущее, как он полагал, смертельные удары и для которого спланированная «украинизация» 20-х была лишь увертюрой к трагедиям Расстрелянного Возрождения и Голодомора 30-х. Более того, еще и в середине 20-х этот главный враг народов бывшей и будущей империи, ее реставратор, не мог не только открыто выступить, но и открыто набирать себе союзников среди однопартийцев, большинство которых еще искренне верило в коммунистический интернационализм и в «естественный» демократизм «пролетарской» партии.

Верил в это всё и Маяковский. Эльза Триоле вспоминала его разговор 1925 г. с Маринетти в Париже: «Встреча с Маринетти в отдельном кабинете ресторана Вуазен, где нас было только трое: Маяковский, Маринетти и я. Досадно, что мне изменяет память и что я не могу восстановить разговора (шедшего, естественно, через меня) между русским футуристом и футуристом итальянским, между большевиком и фашистом. Помню только попытки Маринетти доказать Маяковскому, что для Италии фашизм является тем же, чем для России является коммунизм, и огорченного Маяковского». <sup>94</sup>

Теперь мы знаем, что прав был Маринетти, но лишний раз убеждаемся, что Маяковский на защиту фашистской (или, как

<sup>94</sup> Триоле Эльза. Воинствующий поэт // Vladimir Majakovskij: memoirs and essays. Stockholm, 1975. P. 55.

мы ныне говорим, рашистской) сталинской империи сознательно никогда бы не встал.

Нежданного союзника Сталин себе нашел среди тех, кого его окружение презрительно называло «недобитыми белогвардейцами». Из «своего» театра — а придворным сталинским театром были не «левые» авангардистские театры Мейерхольда или Таирова, а «правый» МХАТ — итак, из своего театра Сталин получил рукопись драмы «Дни Турбиных» бывшего киевлянина, а тогда уже москвича Михаила Булгакова. Вспоминаются еще и такие строки из «Нашему юношеству»:

и чист

— как будто слушаешь МХАТ,  
московский говорочек.

Но действие драмы «Дни Турбиных» (авторской инсценизации романа «Белая гвардия») требовало «говорочка» другого, ибо происходит в Киеве. Персонажи как раз и являются «недобитыми белогвардейцами», к которым автор пьесы относится с нескрываемым сочувствием. Достаточно сказать, что, в отличие от романа, главный герой Алексей Турбин уже не врач, а *полковник, рожденный хватом: слуга царю, отец солдатам.*

Таковыми и впрямь были некоторые полковники и генералы первой мировой, в том числе Павел Петрович Скоропадский, который в пьесе представлен еще более карикатурно, чем в романе.

Маяковский вряд ли читал пьесу накануне тех событий **1926 г.**, о которых я сейчас расскажу. А вот уже опубликованным романом мог поинтересоваться, т. к. слухи о готовящейся премьере его искренне возмутили.

Но прежде разговора о том, во что вылилось возмущение Маяковского, давайте вспомним, что Сталин, прочитав пьесу, не только не возмутился, а дал премьере зеленый свет, сам был на ней и потом каждый свой свободный вечер (общим счетом более 20 раз) отдыхал душой на «Днях Турбиных». Ему, реставратору империи, были нужны именно такие люди, как полковник Турбин — новый идеал «недобитого белогвардейца» Булгакова, истинный «военспец», слуга ему, Сталину (ну и по возможности — отец солдатам, а нет, так «бабы новых нарожают», как говаривали генералы сталинские).

Если бы большевики-интернационалисты вроде Маяковского имели голос в театральных делах, то эта премьера никогда бы не состоялась. И в общем трудно сказать про Маяковского, что он, с его ревушим басом, «голоса не имел». Называя себя в стихах «агитатором, горланом, главарем», он имено и был таким в жизни.

«Раз он спорил с издателем в пролетке, знаменитый ли он писатель. Извозчик повернулся и сказал издателю:

— Кто же Владимира Владимировича не знает?

Сказал он это, кажется, даже и не спрошенный, но **знали Маяковского больше человеком, поступком**».<sup>95</sup>

И ждали от него не так книжек, как поступков.

Премьера «Дней Турбиных» была назначена на **5 октября 1926 г.** А за три дня до уже назначенной премьеры, **2 октября**, во МХАТе состоялись острые публичные дебаты, на которых Маяковский прямо заявил, что в день премьеры он приведет во МХАТ 200 своих единомышленников и сорвет спектакль: «200 человек будут свистеть, а сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. (*Аплодисменты.*)» И к сему прибавил, что «Белая гвардия» во МХАТе (он сказал именно «Белая гвардия», а не «Дни Турбиных»), в сущности, есть логичное завершение развития «реалистического» театра: «Возьмите пресловутую книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (...), — это та же самая «Белая гвардия». (...) А дальше мы не дадим. (*Голос с места: «Запретить?»*.) Нет, не запретить. Чего вы добьетесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким удовольствием, как я 200 раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина. (*Голос с места: «Это для любителя.*») Это для человека, который интересуется. Если на всех составлять протоколы, на тех, кто свистит, то введите протоколы и на тех, кто аплодирует».<sup>96</sup>

Но, вопреки заявлению Маяковского, премьера состоялась. Очевидно, компетентные органы довели до сведения поэта-хулигана, **кем** она санкционирована и **кого** на ней ждут. И это уже не впервые поэт видел предательство революционных идеалов со стороны именно тех, кто *по долгу службы* их был должен охранять. И также

<sup>95</sup> Шкловский, В. О Маяковском // Шкловский, В. Собр. соч. В 3-х т. М., 1974. Т. 3. С. 117–118.

<sup>96</sup> Маяковский, В. Выступление на диспуте «Театральная политика Советской власти» 2 октября 1926 г. // Лит. наследство. Т. 65. М., 1958. С. 37–42.



не в первый, а главное не в последний раз он ощутил свое бессилие против предательства (в последний раз, через три с чем-то года, это окончилось его самоубийством).

А все-таки в **1926 г.** он еще **мог** что-то сделать — и сделал: написал и опубликовал (**31 октября** в газ. «Известия») стих в защиту Украины от всех господ, обожавших смеяться над «котами и китами». И вот теперь, когда нам известен повод написания «**Долга Украине**», оценим следующую строфу:

А если прижмут —  
    зардеется розой  
 и выдвинет  
    аргумент новый:  
 возьмет и расскажет  
    пару курьезов —  
 анекдотов  
    украинской мовы.  
 Говорю себе:  
    товарищ москаль,  
 на Украину  
    шуток не скаль.

Тем временем в Киеве узнали, что в Москве идут жаркие споры вокруг новой пьесы про киевлян; что в «главном» сталинском театре позволяют себе непристойные шутки над украинским языком. Украинские национал-большевики, среди которых были и поэты-авангардисты, единомышленники Маяковского, ждали и, к своей радости, быстро дождались реакции своих московских товарищей. И как только в московских «Известиях» появился стих Маяковского, его тут же перевел 23-летний **Гео Шкурупий (1903–1937)**, скандально известный в Киеве «тротуарный поэт» и «король футуруперий», как он сам себя называл.

Киевлянам еще помнился вызов на поэтический поединок, брошенный начинающим поэтом Маяковскому, Каменскому и Есенину в альманахе «Семафор у майбутнє» (под ред. Михайля Семенко, 1922. № 1. С. 46):

**! НЕВИДАННЫЙ ПОЕДИНОК !**

граждане, развесьте уши, чтобы удлинились до ослиных! расширьте зрачки ваших глаз, чтобы были как солнце! Прислушивайтесь! Присматривайтесь! Внимайте!

**Я**

**— ГЕО ШКУРУПИЙ —**

знаменитый скальпирователь и сдиратель шкур с современных поэтов патентованных гениев, вызываю на поединок словами (также ничего не имею против кулаков), бросая вместо перчатки старую калошу слов «раки поели б вам морду» (это ль не оскорбление), вызываю на поединок с предreshённым концом: бродягу ВОЛОДЬКУ МАЯКОВСКОГО, порохнявого алхимика, скверного суррогатчика слов ВАСЬКУ КАМЕНСКОГО, и упёршегося в стенку образов и образованят годовалого бычка ИГУГУ ЕСЕНИНА.

**КОНЕЦ ПОЕДИНКА ПРЕДРЕШЕН**

Со скальпа ВОЛОДЬКИ я сделаю хороший смычок, ВАСЬКА даже и не догадывается, что из его позвоночника можно сделать хорошую флейту, всё остальное у него пригодно только для свалки, особенно интересует меня шкура годовалого бычка ИГУГУ ЕСЕНИНА, которую я натяну на барабан в звукестре своего кинематографа, где знаменитый юонец МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО продемонстрирует свою каблепозму «ЗА ОКЕАН». О мои годовалые бычки: МАЯКОВСКИЙ, КАМЕНСКИЙ, ИГУГУ ЕСЕНИН!

**УВИЛИВАНЬЕ НЕ СПАСЁТ,**

я очень ловкий команч в прериях футуризма и у меня бесконечное лассо остроумия, которым я выловлю вас, как буйволов.

**! НЕВИДАННАЯ ОХОТА !**

Ясно, что вызванные на поединок русские поэты отнеслись к юному украинцу снисходительно, ибо он говорил с ними языком их эстетики, а **ВЫЗОВ** на этом языке означал безусловное и безмерное признание, и лишь далекие от авангарда люди позднее могли в нем усмотреть пример «феноменальной беспардонности».<sup>97</sup>

Таким образом, имя переводчика актуального стиха Маяковского неожиданностью не стало. «Вундеркиндом нашей литературной современности» назвал утонченный филолог Александр Белецкий (будущий академик) 22-летнего Гео Шкурупия как автора сборника

<sup>97</sup> Жукова, В. [Буревій, К.] Фашизм і футуризм // Пролітфронт. 1930. № 3. С. 220.

«Победитель дракона» (1925), где он, между прочим, откровенно подражал «красивому, 22-летнему» автору «Облака в штанах». Еще в 1923 г. Майк Йогансен в рецензии на сборник 20-летнего Шкурупия («Барабан. Витрина 2») упрекал автора в откровенном подражании ранней поэзии его кумира. Но Гео и к поздним вещам Маяковского был предельно внимателен, и вот пример: никто не обратил внимания на то, что «Долг Украине» начинается с цитаты из «Майской ночи» Гоголя — никто, кроме украинского переводчика, который, думаю, именно поэтому оставил две первые фразы без перевода, что это — цитата:

Знаете ли вы  
украинскую ночь?  
Нет,  
вы не знаете украинской ночи!

Однако в связи с **контекстом 1926 г.** нас не может не заинтересовать вроде бы невинное слово, вполне естественное, когда речь идет о строительстве Днепрогэса. Это слово — ТУРБИНЫ: омограф фамилии героев пьесы Булгакова:

Днепр  
заставят  
течь.

У Шкурупия:

Дніпро  
турбінам  
 кине клич

Тут омограф утрачен, зато Днипро, уже как Шевченков символ Украины, бросает клич-вызов чему-то, что своим названием подозрительно похоже на главных виновников всей этой истории.

Таким образом, в лице Маяковского Украина нашла себе достойного защитника. А его украинские единомышленники достойно оценили позицию своего товарища.



## ЛЕКЦИЯ ШЕСТНАДЦАТАЯ

### ВМЕСТО ЭПИЛОГА<sup>98</sup>

Наша дума, наша пісня  
Не вмре, не загине...  
От де, люде, наша слава,  
Слава України!  
Тарас Шевченко

Миновала и вторая мировая война. Родилось послевоенное поколение, т. е. старшее поколение нынешних наших современников. Восстанавливались разрушенные города. Новенькие сталинки заменили дореволюционные дома на киевском Крещатике, взорванные советскими партизанами осенью 1941 г.

А что же наши две литературы, русская и украинская? Они тоже качественно обновились. Пришло поколение, которое современный украинский историк справедливо называет «новым, глобальным поколением, в значительной степени определившим контуры современного мира. (...) В Советском Союзе их называли «шестидесятниками», на Западе — *Sixties' Generation*. Несмотря на то, что молодых людей на коммунистическом Востоке и на капиталистическом Западе разделял Железный занавес и что украинские шестидесятники были немного старше западных *sixties*, между ними было много общего».<sup>99</sup> Но только «в СССР роль рок-звезд, учитывая широкую популярность литературы, играли поэты — прежде всего Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский. В Украинской ССР была своя поэтическая кватрида: Микола Винграновский, Иван Драч, Лина Костенко, Василь Симоненко».<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Эта глава написана в соавторстве с одной из слушательниц данного курса лекций (в осеннем семестре 2022 г.) — аспиранткой Института славистики Масарикова университета Анастасией Арефьевой.

<sup>99</sup> Грицак, Я. Подолати минуле. С. 324.

<sup>100</sup> Там же. С. 326.

## 1. «КТО БЫЛИ МЫ, ШЕСТИДЕСЯТНИКИ?»

С этих слов начинается стихотворение Е. Евтушенко, в котором автор объясняет, чем жили и дышали его поэтические соратники, какие творческие цели перед собою ставили и чего достигли. Феномен шестидесятничества не раз обсуждался и в литературной критике, и самими писателями того времени. Е. Евтушенко, один из ярких представителей поколения, видел роль поэтов-шестидесятников в следующем:

Давая звонкие пощечины,  
Чтобы не дрыхнул,  
современнику,  
мы пробурили,  
зарешеченное  
окно  
в Европу  
и в Америку.

Это было время ослабления тоталитаризма, развенчания культа Сталина, время так называемой «оттепели», сопровождавшееся ослаблением цензуры, освобождением политзаключенных, постепенным открытием СССР Западу. На контрасте с 30-ми и 40-ми этот отрезок времени очень быстро подарил иллюзорное ощущение свободы.

Советские шестидесятники ярко проявили себя в литературе. В 1955 г. был создан журнал «Юность», одной из главных целей которого был поиск новых имен. Уже существовавший к тому времени журнал «Новый мир» во главе с А. Твардовским стал площадкой для выражения мыслей интеллигенции; там публиковался А. Солженицын.

Поэты-шестидесятники писали гражданскую, любовную, философскую лирику, они озвучивали идеи равенства людей и мира без границ, у них, по мысли Д. Быкова, была установка на дружелюбие.<sup>101</sup> Для этого поколения характерны активность, четкая жизненная позиция, прямолинейность, быстрый ответ на происходящие события в стране и мире, поддержка друг друга, вера в лучшее и целеустремленность. Евгению Евтушенко в августе 1968 г. потребовалось

<sup>101</sup> Быков, Д. Шестидесятники: литературные портреты. М., 2019.

всего два дня, чтобы отреагировать на вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию блистательным стихотворением «Танки идут по Праге». А Роберт Рождественский прямолинейно и резко обращался к поколению, говоря о «безропотных, еле видимых людях-винтиках», но тут же провозглашал свою оптимистическую веру в человека:

Я  
 не верю, —  
 хоть жгите, —  
                                 не верю  
 в бессловесный  
 винтичный разум!  
 Я смирению  
                                 не завидую,  
 но, эпоху  
 понять пытаюсь,  
 я не верю,  
                                 что это винтики  
 с грозным космосом  
 побратались.

Откровенность и смелость проявились в творчестве забытого ныне поэта Сергея Поликарпова:

Едва над входом гробовым  
 Вчерашнего всея владыки  
 Рассеется кадьниц дым  
 И плакальщиц замолкнут клики,  
 Как воспринимающие власть,  
 Как будто бы кутьей медовой,  
 Обносят милостями всласть  
 Круг приживальщицкий дворцовый,  
 А прочим —  
 Вторят старый сказ,  
 Что бедам прошлым не вернуться...  
 Меняется иконостас,  
 Но гимны прежние поются.

Процесс поиска и обновления происходил и у украинских шестидесятников. Современный украинский историк пишет об этом поколенческом общественном движении: «Навеянное аналогиями с шестидесятниками XIX ст., оно было не только формальным признаком, символом, но и частью морального и жизненного кредо этой части интеллигенции».<sup>102</sup> В творчестве поколения шестидесятников проявились индивидуализм, свобода самовыражения, космополитичность, гуманизм. Однако одной из важнейших и определяющих черт украинских шестидесятников был интерес к собственной культуре: «Украинская интеллигенция неожиданно для себя открыла целый материк национальной культуры высокого качества, и это кардинально повлияло на ее самосознание: появилась точка отсчета, система творческих критериев и координат, собственные, не заимствованные образцы, на которые стоило ориентироваться».<sup>103</sup>

## 2. «...ЧТО ВСЁ НА СВЕТЕ – ТОЛЬКО ПЕСНЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ»

Историографы украинского XX столетия собрали целую коллекцию высказываний изначально русскоговорящих шестидесятников об одном только жанре украинской культуре — о песне.

«Народные песни, — пишет Я. Грицак, — сыграли свою роль в формировании идентичности украинских шестидесятников. (...) Они были продуктом советской системы, ощущали себя советскими патриотами, некоторые даже разговаривали по-русски. Однако многие из них помнили народные песни, которые пели им в детстве родители, которые звучали на украинских свадьбах. Когда они снова слышали эти песни, будучи взрослыми, в аутентичном, а не официальном исполнении, испорченном певцами-пропагандистами, у них внутри что-то обрывалось. Вот как описывал этот опыт математик по образованию и кибернетик по профессии **Леонид Плющ (1939–2015)** — украинский диссидент, который жил в Советской Украине, но разговаривал по-русски, пока не открыл для себя украинскую культуру:

<sup>102</sup> Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. Київ, 1995. С. 14.

<sup>103</sup> Там же. С. 16.



*В украинских песнях, в думах — быть может и есть то самое глубинное украинское. Украинец может называть себя русским и презирать свой народ, он может даже быть палачом своего народа, может не знать его языка, но если он жил в детстве в Украине, то в песне он снова становится украинцем.*

Трансцендентное измерение украинских песен хорошо передал поэт **Леонид Киселев (1946–1968)**. Он родился в Киеве сразу после войны, в русско-еврейской семье, в раннем возрасте у него диагностировали лейкемию. В больничной палате, перед лицом смерти, он написал:

Я постою у края бездны  
И вдруг пойму, сломясь в тоске,  
Что всё на свете — только песня  
На украинском языке.

Лучше и не скажешь».<sup>104</sup>

Давайте напоследок остановимся на личности и творчестве этого поэта.

В истории шестидесятничества он остался как «Леня Киселев». Так любовно называли его друзья-шестидесятники, namного его пережившие: он ведь был среди них самым молодым.

Поэт Леонид Киселев — коренной киевлянин. Писал на русском и на украинском. Его юношеские стихи были опубликованы в журнале «Новый мир» (1963, № 3, с. 159–160) с таким указанием авторства: «*Леонид Киселев, ученик 10 класса школы № 37, г. Киев*». Стихотворение «**Царь**», написанное Киселевым в возрасте семнадцати лет, определенно было смелым. Киевский школьник обличительно и саркастично писал о Петре I, ссылаясь на Т. Шевченко:

«Зачем он нам, державный этот конник?  
Взорвать бы — чтоб копыта в небеса!  
Шевченко, говорят, односторонне  
Отнесся... Нет, он правильно писал:  
«Ще той перший, що розпинав  
Нашу Україну...»

<sup>104</sup> Грицак, Я. Подолати минуле... С. 139.

Не Петр, а те голодные, простые  
 В болоте основали Ленинград.  
 За долгую историю России —  
 Ни одного хорошего царя».

Киселев не только продолжает вослед Шевченко «петровскую тему», но и откликается на другое, нечто более важное — на размышления об украинском языке.

Л. Киселев писал стихотворения на русском языке, а к концу своей непродолжительной жизни перешел на украинский. Значительную роль в этом сыграла и творческая идеология украинских шестидесятников.

Отец Леонида, писатель Владимир Леонтьевич Киселев, в 1954–1964 гг. работал собственным корреспондентом московской «Литературной газеты» по Украине (интересно, что младший брат Леонида, Сергей, родившийся как раз в год назначения отца собкором «Литературки», в годы перестройки конца 80-х – нач. 90-х сам работал на этой должности). Таким образом писательская семья Киселевых оказалась в центре литературной жизни Киева. Друзья и коллеги В. Л. Киселева часто собирались у него, а какое же украинское застолье без песен? Вот и сюжет для небольшого (три катрена) стихотворения Леонида Киселева:

Я позабуду все обиды,  
 И вдруг напомнят песню мне  
 На милом и полузабытом,  
 На украинском языке.  
 И в комнате, где, как батоны,  
 Чужие лица без конца,  
 Взорвутся черные бутоны —  
 Окаменевшие сердца.  
 Я постою у края бездны  
 И вдруг пойму, сломясь в тоске,  
 Что всё на свете — только песня  
 На украинском языке.

Для старших друзей Леонида и младших друзей его отца это стихотворение стало такой же неотъемлемой частью всей их даль-

нейшей жизни, как сами украинские песни. Почему? Потому что мило, талантливо? Да, но не только поэтому.

Всё дело в том, что молодому поэту удалось легко и непринужденно в едином поэтическом дискурсе совместить:

1. традиционные знаки «украинской темы» (они сопровождали нас по всему ходу изучения русско-украинских литературных связей);
2. актуальную информацию.

Официальная догма «советской культуры»: она «национальная по форме и социалистическая по содержанию». Стихотворение Лени Киселева подрывает эту старую, еще екатерининскую догму «национальных по форме» украинцев — «племени поющего и пляшущего». Язык останется **полузабытым**, если будет только **милым**, домашним, и «не для всего», а лишь «для песен».

Стихотворение начинается с обид. Мы не знаем, на какие **обиды** жалуется нам лирический герой. Сопоставление с автобиографическим героем (далеко не всегда корректное при разборе стихотворения) склоняет нас к сочувствию обиде смертельно больного юноши на несправедливую к нему судьбу.

Как бы то ни было, **обиды** забываются, стоит лишь людям, собравшимся в тесной комнате, затянуть песню

На милом и полузабытом,  
На украинском языке.

Как явствует из этих строк, до того, как запеть по-украински, все эти люди между собою общались по-русски. Наверное это были друзья Лениного отца, а для Лени — **чужие лица без конца**, напрашивающиеся на оксюморон «безликие», все как один напоминающие продолговатый белый киевский **батон** с корочкой «телесного» цвета. А сердца этих безликих людей кажутся лирическому герою **окаменевшими** и своим видом (поэтическим взором, как рентгеном, он проникает их тела!) напоминают ему **черные бутоны**.

Сравнение в отношении лирического сюжета перспективное: ведь бутонам свойственно раскрываться. Но осознание, посетившее современников (*в украинских песнях, в думах — быть может и есть то самое глубинное украинское*), будет настолько стремительным, а пробуждение чувств таким резким, что **окаменевшие сердца**

именно **взорвутся**, а не медленно раскроются, как это обычно бывает с бутонами. Этот центральный образ стихотворения, заключенный в его центральной строфе, символизирует необратимость прорыва к собственному, внутреннему украинству, свершившегося в сердцах киевских русскоязычных шестидесятников.

Последняя строфа возвращает нас к первой — к **обидам**, к **краю бездны**, к **тоске**. Однако теперь лирический герой ободрен и утешен вновь обретенным смыслом: ведь не украинский язык «только для песен», а **всё на свете — только песня на украинском языке**.

Да, это трагический стих больного поэта, но именно того поэта, к которому у **края бездны** приходит важное осознание, подарившее силы и вдохновение для дальнейшего творчества, на которое у него еще оставалось время — около пяти лет — и которое будет теперь вершиться в основном по-украински.

И вот что самое удивительное. Ведь откровение лирического героя ни по сути, ни в контексте русской литературы на темы Украины откровением не является. Что всё на свете только песня на украинском языке — это в русской поэзии, прозе и драме сказано не раз, может быть только не в такой радикальной форме. Да и сама по себе идея в поисках сил для жизни среди **обид и зла**, уготованных нам судьбой, опереться на **племя родное** — это идея романтическая, а в связи с украинской темой — лермонтовская («М. А. Щербатовой»).

Однако для «нового, глобального поколения, в значительной степени определившего контуры современного мира», эта идея стала не просто «новой». Верим, что она и в конечном итоге определит контуры мира, в котором мы живем и будем жить.

## СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Агеева, В. За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини. Київ, 2022.
- Аксаков, С. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960.
- Баранович, Л. Меч духовный. Киев <http://www.raruss.ru/slavonic/slav3/1627-lazar-baranovich-mech.html>.
- Бебутов, В. Гимназия лицом к лицу. Тбилиси, 1977.
- Белинский, В. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 3.
- Борщак, І. Вольтер і Україна // Україна. 1926. № 1.
- Булгаков, А. Современное франкмасонство. Опыт характеристики. Киев, 1903.
- Быков, Д. Шестидесятники: литературные портреты. М., 2019.
- Винниченко, В. Щоденник, т. 3. Київ etc., 2010.
- Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. СПб., 1999.
- Грабович, Г. Гоголь і міф України // Сучасність. 1994. № 9–10.
- Грицак, Я. Подолати минуле: глобальна історія України. Київ, 2022.
- Денисов, В. Мир автора и миры его героев (о раннем творчестве Н. В. Гоголя). СПб., 2006.
- Де Пуле, М. Малороссийские эмигранты при Петре Великом // Вестник Европы. 1872. № 1.
- Дернович, О. Конструируя «Другую Русь»: Образы «Руси» в историописании Великого княжества Литовского XVI–XVII веков // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем. Смоленск, 2018.
- Дзык, Р. Украинская лексика в «Печерских антиках» Николая Лескова // Н. С. Лесков и традиция русского романа в мировом контексте / Ed. Ivo Pospíšil. Brno, 2020.
- Долинин, А. Кто же сказал «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя»? // Русская литература. 2018. № 3.
- Дурылин, С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголей. М., 1928.
- Дух Екатерины Великия. СПб., 1914.
- Жукова, В. [Буревій, К.]. Фашизм і футуризм // Пролітфронт. 1930. № 3.

- Звенияцковский, В. Николай Гоголь. Тайны национальной души. Киев, 1994.
- Звенияцковский, В. О прекрасном постоянстве. Русские писатели XIX века и Украина. Киев, 2019.
- Зеньковский, В. Н. В. Гоголь. Париж, б. г.
- Иофанов, Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951.
- История всемирной литературы в 9 т. Т. 5. М., 1988.
- Кагамлик, С. Українська православна ієрархія ранньомодерного часу: інтелектуальний та духовний виміри. Київ–Тернопіль, 2021.
- Камеристов, Р. Украинская держава. Мифы и правда о Павле Скоропадском // Фокус. 2018. 29 апреля.
- Капнист: тайная миссия // <https://rua.gr/greece/abgreece/25130-vasilij-kapnist-tajna-missiya.html>.
- Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. Київ, 1995.
- Крутикова, Н. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992.
- Кулжинский, И. Малороссийская деревня. М., 1827.
- [Кулиш, П.] Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя // Отечественные записки. 1852. № 4.
- Куліш, П. Чорна рада. Харків, 1990.
- Лазаревский Ал. Сведения о предках Н. В. Гоголя. Киев, 1901.
- Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобицах, бывших в Малой России по его смерти. М., 1846.
- Максимович, М. Собр. соч. Киев, 1876. Т. 1.
- Манн, Ю. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. М., 2004.
- Маяковский, В. Выступление на диспуте «Театральная политика Советской власти» 2 октября 1926 г. // Лит. наследство. Т. 65. М., 1958. С. 37–42.
- Мережковский, Д. Эстетика и критика в 2 т. Харьков, 1994.
- Михайлов, А. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Часть 2 — литература Европы 17 века. <http://17v-euro-lit.niv.ru>.
- Московкина, И. Смех против чёрта в прозе Н. В. Гоголя и Л. Андреева // Література та культура Полісся. Вип. 12. Ніжин, 1999.
- Мочульский, К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
- Нахлік, Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2 т. Київ, 2007.
- Оглоблин, О. Люди старої України. Мюнхен, 1959.

- Павленко, Ю., Храмов, Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз). К., 1995.
- Панч, П. Я був свідком // Літературна Україна, № 19 (4376), 10 травня 1990.
- Переписка А. П. Чехова в 2 т. М., 1984.
- Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. М., 1988.
- Плетнев П. Письмо к Я. Гроту от 18.11.1845 // РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 697.
- Полонська-Василенко, Н. Історія України в 2 т. К., 1993.
- Попович, М. Григорій Сковорода: філософія свободи. Київ, 2007.
- Пушкин, А. «Здесь всё Европой дышит, веет...». Стихотворения и поэмы, написанные в Украине и Молдове (1820–1824) в оригиналах и переводах на английский язык / Сост. Дж. Д. Клэйтон, В. Я. Звизняцковский. Киев, 2021.
- Рейсер, С. Лесков та українська культура // Записки історично-філологічного відділу УАН. 1927. Кн. XV.
- Триоле, Э. Воинствующий поэт // Vladimir Majakovskij: memoirs and essays. Stockholm, 1975.
- Устинов, А., Бабак, Г. Харьковский кружок «формалистов» и ОПОЯЗ // Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2022. No. 10.
- Царынный, А. Мысли Малороссиянина по прочтении повестей Пасичника Рудого-Панька // Сын Отечества и Северный архив. 1832. Т. XXV.
- Цивилизационные активы и цивилизационные рамки национальной российской политики. Материалы постоянно действующего научного семинара. Вып. № 6 (15). М., 2009.
- Чижевський, Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. Тернопіль, 1994.
- Шенрок, В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887.
- Шероцкий, К. Киев. Путеводитель. К., 1917.
- Шкловский, В. О Маяковском // Шкловский, В. Собр. соч. В 3-х т. М., 1974. Т. 3.
- Эпштейн, М. Интервью // The Insider. 01.06.2023.
- Янковский, Ю. Патриархально-дворянская утопия: Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов. М., 1981.

Carré, J.-M. Les écrivains français et le mirage allemand. 1800–1940. Paris, 1947.

Damrosch, D. Comparing the Literatures: Literary Studies in a Global Age. Princeton, 2020.

Eliade, M. Aspects du mythe. Paris, 1963.

Gellner, E. Nations and Nationalism. 2nd ed. Malvin etc. 2006.

Meyrink, G. Golem. Praha, 2002.

Shevchenko, T. Katerina. Transl. By John Weir. Kiev, 1972.

Voltaire. Histoire de Charles XII, Roi de Suede. P., 1817.



Владимир Янович Звизняцковский

## **Лекции по истории русско-украинских литературных связей**

Издано с поддержкой Института Философского факультета Университета им. Масарика

Издано MASARYK UNIVERSITY PRESS, Жеротинова пл. 617/9, 601 77 Брно

Верстка в Lua<sup>TeX</sup> шрифтами PT Serif и PT Sans Narrow Збынек Михалек

Издание первое, электронное

Брно, 2023

ISBN 978-80-280-0369-2

**MUNI**  
PRESS

**MUNI**  
ARTS